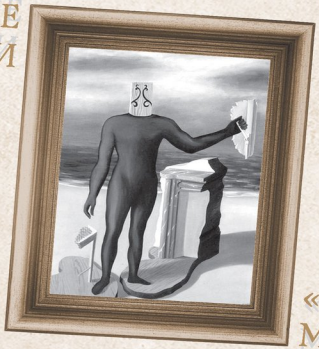
ФИЛОСОФСКИЙ ПОЕДИНОК

ТЕОДОР

АДОРНО

ПАДЕНИЕ ПОЛИТИКИ



«ВОЖДЬ МАСС»

СЕРЖ

МОСКОВИЧИ

ФИЛОСОФСКИЙ ПОЕДИНОК

Падение политики. «Вождь масс»

Теодор Адорно, Карл Ясперс, Альбер Камю, Элиас Канетти, Жан Бодрийяр, Антонио Грамши, Серж Московичи

Аннотация
Теодор Адорно, Серж Московичи. Падение политики. «Вождь масс»
Часть 1. Падение политики
Карл Ясперс. Власть массы. (Из книги «Духовная ситуация времени». Перевод М. Левина)
Массовое сознание
Господство аппарата
Господство массы
Страх перед жизнью
Кризис
Жан Бодрийяр. Падение политики. (Из книги «В тени молчаливого большинства». Перевод Н. Суслова)
Молчаливое большинство
Пучина, в которой исчезает смысл
Возвышение и падение политики
Масса. Массы

Ни субъект, ни объект
От сопротивления к гиперконформизму
Масса и терроризм
Системы имплозивные и взрывные
Конец социального
Экскурс: функциональная калькуляция остатка
Конец социального (продолжение)
Элиас Канетти. Масса и власть. (Из одноименной книги. Перевод Л. Ионина)
Масса вместо народа
Выжить любой ценой
Властитель как переживший других
Насилие
Тайна как способ существования
Подражание и притворство
Маска власти
Превращение
Часть 2. Вождь массы
Антонио Грамши. Современный «Государь». (Из «Тюремных тетрадей» А. Грамши. Перевод Г. Смирнова, В. Дмитриченкова, П. Козлова)
«Государь» и государство
Принципы политики
Партии, государство, общество
Альбер Камю. Вождь с моралью уголовника. (Из

книги А. Камю «Бунтующий человек». Перевод Е. Головиной и М. Ваксмахера)
Теодор Адорно. «Вождь говорит...». (Из книги «Исследование авторитарной личности». Перевод М. Попова, М. Кондратенко)
Введение
Трюк «Одинокий волк»
Трюк «Освобождения от чувств»
Трюк «Преследуемая невинность»
Трюк «Неутомимость»
Человеческий интерес
Понятие жертвы
«Слушайтесь своего вождя»
Экскурс в технику «Fait accompli»
Трюк единства
Демократическая маска
«Если бы вы только знали»
Трюк «Грязное белье»
Трюк «Содрогание от ужаса»
Трюк «Последний час»
Трюк «Черная рука» (тайное судилище)
«Давайте будем практичными!»
Техника разложения
Трюк «Вера наших отцов»
Идеологическая обработка
Позиция в отношении внешней политики

Конечная цель пропаганды
Серж Московичи. Вождь массы. (Из книги С. Московичи «Машина, творящая богов». Перевод Т. Емельяновой, Г. Дилигенского)
Средства власти над массой
Запрет на критику
Вождь массы

Аннотация

В прошлом политика играла важнейшую роль в жизни государств и народов – от нее требовалось, чтобы она как можно лучше изображала стоящую за ней реальность. Ныне, как отмечает французский философ Ж. Бодрийяр, политика угасла. Что может выражаться в политическом, чем может обеспечиваться его эффективная работа, если социального референта сегодня нет даже у таких классических категорий, как «народ», «класс», «пролетариат», «объективные условия»? Вместо народа на исторической сцене действуют массы, «классы-фантомы», что означает смерть политического процесса. Но массам требуется вождь, узурпатор, признанный ими, говорит другой французский философ – Серж Московичи. Задача вождя – поддерживать стабильность масс и в то же время окончательно утвердить отказ интеллектуальной и политической элиты от их обязательств перед обществом. Для выполнения своих задач вождь имеет в своем арсенале большой набор особых средств, – о

них подробно рассказывает немецкий социолог и философ Теодор Адорно. В сборнике представлены также работы других мыслителей XX – начала XXI века, посвященные данной теме.

Теодор Адорно, Серж Московичи
Падение политики. «Вождь масс»

Часть 1
Падение политики

Карл Ясперс. Власть массы (Из книги «Духовная ситуация времени». Перевод М. Левина)

Массовое сознание

По подсчетам 1800 г., население Земли составляло около 850 миллионов, сегодня оно равно 1800 миллионам[1]. Этот неведомый ранее рост населения в течение одного столетия стал возможным благодаря развитию техники. Открытия и изобретения создали: новый базис производства, организацию предприятий, методическое изучение наибольшей производительности труда, транспорт и сообщение, повсюду доставляющие все необходимое, упорядочение жизни посредством формального права и полиции; и на основании всего этого — точную калькуляцию на предприятиях. Создавались предприятия, планомерно руководимые из центра, несмотря на то что на них заняты сотни тысяч людей; они распространили свое влияние на многие регионы планеты.

Это развитие связано с рационализацией

---

[1] Примечания: 1
В 1931 году. — *Прим. ред.*

деятельности: решения принимаются не инстинктивно или по склонности, а на основании знания и расчета; развитие связано и с механизацией: труд превращается в просчитанную до предела, связанную с необходимыми правилами деятельность, которая может быть совершена различными индивидами, но остается одной и той же. Там, где раньше человек только выжидал, предоставляя возникнуть необходимому, он теперь предвидит и ничего не хочет оставлять на волю случая. Рабочий вынужден в значительной степени превратиться в часть действующего механизма.

Массы населения не могут жить без огромного аппарата, в работе которого они участвуют в качестве колесиков, чтобы таким образом обеспечить свое существование. Зато мы обеспечены так, как никогда еще на протяжении всей истории не были обеспечены массы людей. Еще в начале XIX века в Германии были периоды, когда люди страдали от голода. Болезни катастрофически уменьшали население, большинство детей умирало в грудном возрасте, лишь немногие люди доживали до старости. В настоящее время в регионах западной цивилизации возникновение голода в мирное время исключено. Если в 1750

г. в Лондоне ежегодно умирал один человек из двадцати, то теперь — один из восьмидесяти. Страхование на случай безработицы или болезни и социальное обеспечение не дают умереть с голоду нуждающемуся человеку, тогда как раньше это было само собой разумеющимся для целых слоев населения и по сей день является таковым для ряда стран Азии.

Обеспечение масс совершается не по определенному плану, а в чрезвычайно сложном взаимодействии различных видов рационализации и механизации. Это не рабовладельческое хозяйство, где людей используют как животных, а хозяйство, в котором люди по своей доброй воле каждый на своем месте, пользуясь полным доверием, участвуют в создании условий для функционирования целого. Политическая структура такого аппарата деятельности — демократия в той или иной ее разновидности. Никто не может больше на основе измышленного плана определять без согласия массы, что ей следует делать. Аппарат развивается в столкновении борющихся и согласно действующих волевых направленностей; критерием того, что делает индивид, служит успех, который в конечном итоге определяет продолжение или устранение его

деятельности. Поэтому все действует по плану, но не по плану целого.

В соответствии с этим в течение двух веков сложилась в качестве основной науки политическая экономия. Поскольку в это время экономические, технические и социальные процессы все более определяли для общего сознания исторический ход вещей, знание их превратилось как бы в науку человеческих вещей вообще. С этим связана безмерная сложность в осуществлении принципа целерационального порядка в обеспечении существования, принципа, который сам по себе представляется столь простым. В этой сложности проявляется целый мир допустимого господства, который, будучи нигде не различимым как целое, существует только в постоянном видоизменении.

* * *

Следствием развития техники для повседневной жизни является уверенность в обеспеченности всем необходимым для жизни, но таким образом, что удовольствие от этого уменьшается, поскольку эту обеспеченность ожидают как нечто само собой разумеющееся, а не воспринимают как позитивное исполнение надежды. Все

становится просто материалом, который можно в любую минуту получить за деньги; в нем отсутствует оттенок лично созданного. Предметы пользования изготовляются в громадном количестве, изнашиваются и выбрасываются; они легко заменимы. От техники ждут создания не чего-то драгоценного, неповторимого по своему качеству, независимого от моды из-за его ценности в жизни человека, не предмета, принадлежащего только ему, сохраняемого и восстанавливаемого, если он портится. Поэтому все связанное просто с удовлетворением потребности становится безразличным; существенным только тогда, когда его нет. По мере того как растет масштаб обеспечения жизни, увеличивается ощущение недостатка и угрозы опасности.

Среди предметов пользования существуют целесообразные, совершенно законченные виды, окончательные формы, производство которых может быть нормировано по определенному плану. Их не изобрел какой-нибудь один умный человек; это — результат процесса открытия и формирования на протяжении целого поколения. Так, велосипед развивался в течение двух десятилетий, принимая формы, которые теперь кажутся нам смешными, пока не обрел в ряде

модификаций свой окончательный вид, сохраняемый им до сих пор. Если теперь большинство предметов пользования в каких-то деталях и отталкивает несоответствием формы, завитушками и излишеством деталей, непрактичностью приспособлений, подчеркнутой и поэтому ненужной техничностью, идеал в целом ясен, и в ряде случаев он осуществляется. Там, где он осуществлен, привязанность к какому-либо отдельному экземпляру теряет всякий смысл; нужна только форма, а не отдельный экземпляр, и, несмотря на всю искусственность, ощущается некая новая близость к вещам как к чему-то, созданному людьми.

Преодоление техникой времени и пространства в ежедневных сообщениях газет, в путешествиях, в массовом продуцировании и репродуцировании посредством кино и радио создало возможность соприкосновения всех со всеми. Нет более ничего далекого, тайного, удивительного. В имеющих важное значение событиях могут участвовать все. Людей, занимающих ведущие посты, знают так, будто ежедневно с ними встречаются.

Внутреннюю позицию человека в этом техническом мире называют деловитостью. От людей ждут не рассуждений, а знаний, не размышлений

о смысле, а умелых действий, не чувств, а объективности, не раскрытия действия таинственных сил, а ясного установления фактов. Сообщения должны быть выражены сжато, пластично, без каких-либо сантиментов. Последовательно излагаемые ценные соображения, воспринимаемые как материал полученного в прошлом образования, не считаются достойными внимания. Обстоятельность отвергается, требуется конструктивная мысль, не разговоры, а просто сообщение фактов. Все существующее направлено в сторону управляемости и правильного устройства. Безотказность техники создает ловкость в обращении со всеми вещами; легкость сообщения нормализует знание, гигиену и комфорт, схематизирует то, что связано в существовании с уходом за телом и с эротикой. В повседневном поведении на первый план выступает соответствие правилам. Желание поступать, как все, не выделяться создает поглощающую все типизацию, напоминающую на другом уровне типизацию самых примитивных времен.

Индивид распадается на функции. Быть означает быть в деле; там, где ощущалась бы личность, деловитость была бы нарушена. Отдельный человек живет как сознание социального бытия. В

пограничном случае он ощущает радость труда без ощущения своей самости; живет коллектив, и то, что отдельному человеку казалось бы скучным, более того, невыносимым, в коллективе он спокойно принимает как бы под властью иного импульса. Он мыслит свое бытие только как «мы».

Бытие человека сводится к всеобщему; к жизнеспособности как производительной единицы, к тривиальности наслаждения. Разделение труда и развлечений лишает существование его возможного веса; публичное становится материалом для развлечения, частное — чередованием возбуждения и утомления и жаждой нового, неисчерпаемый поток которого быстро предается забвению; здесь нет длительности, это — только времяпрепровождение. Деловитость способствует также безграничному интересу к общей всем сфере инстинктивного: это выражается в воодушевлении массовым и чудовищным, созданиями техники, огромным скоплением народа, публичными сенсациями, вызванными делами, счастьем и ловкостью отдельных индивидов; в утонченной и грубой эротике, в играх, приключениях и даже в способности рисковать жизнью. Число участников в лотереях поразительно;

решение кроссвордов становится излюбленным занятием. Объективное удовлетворение духовных стремлений без личного участия гарантирует деловое функционирование, в котором регулируется утомление и отдых.

В разложении на функции существование теряет свою историческую особенность, в своем крайнем выражении вплоть до нивелирования возрастных различий. Молодость как выражение высшей жизнеспособности, способности к деятельности и эротического восторга является желанным типом вообще. Там, где человек имеет только значение функции, он должен быть молодым; если же он уже немолод, он будет стремиться к видимости молодости. К этому добавляется, что возраст отдельного человека уже изначально не имеет значения; жизнь его воспринимается лишь в мгновении, временное протяжение жизни — лишь случайная длительность, она не сохраняется в памяти как значимая последовательность неотвратимых решений, принятых в различных биологических фазах. Если у человека, в сущности, нет больше возраста, он все время начинает с начала и всегда достигает конца: он может делать и то, и это, сегодня это, завтра другое; все представляется

всегда возможным, и ничто, по существу, не действительно. Отдельный человек — не более чем случай из миллионов других случаев, так почему бы ему придавать значение своей деятельности? Все, что происходит, происходит быстро, а затем забывается. Поэтому люди ведут себя, как будто они все одного возраста. Дети становятся по возможности раньше как бы взрослыми и участвуют в разговорах по собственному желанию. Там, где старость сама пытается казаться молодой, она не вызывает почтения. Вместо того чтобы делать то, что ей пристало, и тем самым служить молодым на определенной дистанции масштабом, старость принимает облик жизненной силы, которая свойственна в молодости, но недостойна в старости. Подлинная молодость ищет дистанции, а не беспорядка, старость — формы и осуществления, а также последовательности в своей судьбе.

Поскольку общая деловитость требует простоты, понятной каждому, она ведет к единым проявлениям человеческого поведения во всем мире. Едиными становятся не только моды, но и правила общения, жесты, манеры говорить, характер сообщения. Общим становится и этос общения: вежливые улыбки, спокойствие, никакой спешки и настоятельных требований, юмор

в напряженных ситуациях, готовность помочь, если это не требует слишком больших жертв, отсутствие близости между людьми в личной жизни, самодисциплина и порядок в толпе — все это целесообразно для совместной жизни многих и осуществляется.

Господство аппарата

Превращая отдельных людей в функции, огромный аппарат обеспечения существования изымает их из субстанциального содержания жизни, которое прежде в качестве традиции влияло на людей. Часто говорили: людей пересыпают, как песок. Систему образует аппарат, в котором людей переставляют по своему желанию с одного места на другое, а не историческая субстанция, которую они заполняют своим индивидуальным бытием. Все большее число людей ведет это оторванное от целого существование. Разбрасываемые по разным местам, затем безработные, они представляют собой лишь голое существование и не занимают больше определенного места в рамках целого. Глубокая, существовавшая раньше истина — каждый да выполняет свою задачу на своем месте в сотворенном мире — становит-

ся обманчивым оборотом речи, цель которого — успокоить человека, ощущающего леденящий ужас покинутости. Все, что человек способен сделать, делается быстро. Ему дают задачи, но он лишен последовательности в своем существовании. Работа выполняется целесообразно, и с этим покончено. В течение некоторого времени идентичные приемы его работы повторяются, но не углубляются в этом повторении так, чтобы они стали достоянием того, кто их применяет; в этом не происходит накопления самобытия. То, что прошло, не имеет значения, значимо лишь то, что в данную минуту происходит. Основное свойство этого существования — умение забывать; его перспективы в прошлом и будущем почти сжимаются в настоящем. Жизнь течет без воспоминаний и без предвидений во всех тех случаях, когда речь идет не о силе абстрагирующего, целесообразно направленного внимания на производительную функцию внутри аппарата. Исчезает любовь к вещам и людям. Исчезает готовый продукт, остается только механизм, способный создать новое. Насильственно прикованный к ближайшим целям, человек лишен пространства, необходимого для видения жизни в целом.

Там, где мерой человека является средняя производительность, индивид как таковой безразличен. Незаменимых не существует. То, в качестве чего он был, он — общее, не он сам. К этой жизни предопределены люди, которые совсем не хотят быть самими собой; они обладают преимуществом. Создается впечатление, что мир попадает во власть посредственности, людей без судьбы, без различий и без подлинной человеческой сущности.

Кажется, что объективированный, оторванный от своих корней человек утратил самое существенное. Для него ни в чем не сквозит присутствие подлинного бытия. В удовольствии и неудовольствии, в напряжении и утомлении он выражает себя лишь как определенная функция. Живя со дня на день, он видит цель, выходящую за пределы сиюминутного выполнения работы, только в том, чтобы занять по возможности хорошее место в аппарате. Масса остающихся на своих местах отделяется от меньшинства бесцеремонно пробивающихся вперед. Первые пассивно пребывают там, где они находятся, работают и наслаждаются после работы досугом; вторых побуждают к активности честолюбие и любовь к власти; они изматываются, придумывая

возможные шансы к продвижению и напрягая последние силы.

Руководство всем аппаратом осуществляется бюрократией, которая сама является аппаратом, т.е. людьми, превратившимися в аппарат, от которых зависят работающие в аппарате.

Государство, общество, фабрика, фирма — все это является предприятием во главе с бюрократией. Все, что сегодня существует, нуждается во множестве людей, а следовательно, в организации. Внутри бюрократического аппарата и посредством него возможно продвижение, которое предоставляет большую значимость при сходных, по существу, функциях, требующих только большей интеллигентности, умения, особых способностей, активных действий.

Господствующий аппарат покровительствует людям, обладающим способностями, которые позволяют им выдвинуться: умеющим оценивать ситуацию беспардонным индивидам, которые воспринимают людей по их среднему уровню и поэтому успешно используют их; они готовы в качестве специалистов подняться до виртуозности, одержимые желанием продвинуться, они способны жить, не задумываясь и почти не тратя времени на сон.

Далее, требуется умение завоевать расположение. Надо уметь уговорить, даже подкупить — безотказно нести службу, стать незаменимым, — молчать, надувать, немного, но не слишком лгать, быть неутомимым в нахождении оснований — вести себя внешне скромно, — в случае необходимости взывать к чувству, трудиться к удовольствию начальства, не проявлять никакой самостоятельности, кроме той, которая необходима в отдельных случаях.

Для того, кто по своему происхождению не может претендовать на высокие посты в бюрократическом аппарате, не подготовлен к тому воспитанием и должен добиться соответствующего положения своими силами, это связано с манерой поведения, с инстинктом, отношением к ценностям, и все это представляет опасность для подлинного самобытия как условия ответственного руководства. Иногда может помочь счастливая случайность; однако, как правило, преуспевающие отличаются такими качествами, которые препятствуют им мириться с тем, что человек остается самим собой, и поэтому они с безошибочным чутьем пытаются всеми средствами вытеснить таких людей из своей сферы деятельности: они называют их само-

надеянными, чудаками, односторонними и неприемлемыми в деле; их деятельность оценивается фальшивым абсолютным масштабом; они вызывают подозрение, их поведение рассматривается как провоцирующее, нарушающее покой, мир в обществе и преступающее должные границы. Поскольку высокого положения достигает только тот, кто пожертвовал своей сущностью, он не хочет допустить, чтобы другой ее сохранил.

Методы продвижения в аппарате определяют отбор нужных лиц. Так как достигает чего-либо только тот, кто рвется к успеху, но именно это он никогда не должен признавать в конкретной ситуации, приличным считается ждать, когда ты будешь позван: от поведения зависит, каким образом достигнуть желаемого, сохраняя видимость сдержанности. Сначала, обычно в обществе, как бы незаметно направляют разговор в нужную сторону. Как бы безразлично высказываются предположения. Им предшествуют такие выражения: я об этом не думаю… не следует ожидать, что… — и таким образом выражают свои желания. Если это ни к чему не приводит, то ничего сказано не было. Если же желаемый результат достигнут, то можно вскоре сообщить о поступившем предложении, сделав вид, что

это произошло независимо от своего желания. Создается привычка утверждать многое, противоречащее друг другу. Со всеми людьми следует устанавливать такие отношения, чтобы обладать по возможности большими связями, используя ту, которая именно в данном случае необходима. Вместо товарищества самобытных людей возникает некая псевдодружба тех, кто молча находит друг друга в случае надобности, придавая своему общению форму обходительности и любезности. Не нарушать правил игры в удовольствиях, выражать каждому свое уважение, возмущаться, когда можно рассчитывать на соответствующий отклик, никогда не ставить под вопрос общие материальные интересы, какими бы они ни были, — все это и тому подобное существенно.

Господство массы

Масса и аппарат связаны друг с другом. Крупный механизм необходим, чтобы обеспечить массам существование. Он должен ориентироваться на свойства массы: в производстве — на рабочую силу массы, в своей продукции — на ценности массы потребителей.

Масса как толпа не связанных друг с другом лю-

дей, которые в своем сочетании составляют некое единство, как преходящее явление существовала всегда. Масса как публика — типический продукт определенного исторического этапа; это связанные воспринятыми словами и мнениями люди, не разграниченные в своей принадлежности к различным слоям общества. Масса как совокупность людей, расставленных внутри аппарата по упорядочению существования таким образом, чтобы решающее значение имела воля и свойства большинства, является постоянно действующей силой нашего мира, которая в публике и массах в качестве толпы принимает облик преходящего явления.

Прекрасный анализ свойств массы как временного единства толпы дал Лебон, определив их как импульсивность, внушаемость, нетерпимость, склонность к изменениям и т.д. Свойство массы в качестве публики состоит в призрачном представлении о своем значении как большого числа людей; она составляет свое мнение в целом, которое не является мнением ни одного отдельного человека; бесчисленные другие, ничем не связанные многие, мнение которых определяет решение. Это мнение именуется «общественным мнением». Оно является фикцией мнения

всех, в качестве такового оно выступает, к нему взывают, его высказывают и принимают отдельные индивиды и группы как свое. Поскольку оно, собственно говоря, неосязаемо, оно всегда иллюзорно и мгновенно исчезает — «ничто», которое в качестве «ничто» большого числа людей становится на мгновение уничтожающей и возвышающей силой.

Познание свойств расчлененной в аппарате массы не просто и не однозначно. Что представляет собой человек, проявляется в том, что делает большинство: в том, что покупается, что потребляется, в том, на что можно рассчитывать, когда речь идет о многих людях, а не о склонности отдельных индивидов. Так же как статьи бюджета в частном хозяйстве служат характерным признаком сущности отдельного человека, так бюджет зависимого от большинства государства служит признаком сущности масс. О сущности человека можно судить, если быть осведомленным о наличных у него средствах, исходя из того, на что у него есть деньги и на что их не хватает. Самым непосредственным образом узнать, чего можно в среднем ожидать, учит опыт, складывающийся из соприкосновения со многими людьми. Эти суждения поразительно сходны на протяжении

тысячелетий. Объединенные в большом количестве люди как будто хотят только существовать и наслаждаться; они работают под действием кнута и пряника; они, собственно говоря, ничего не хотят, приходят в ярость, но не выражают свою волю; они пассивны и безразличны, терпят нужду; когда наступает передышка, они скучают и жаждут нового.

Для расчлененной в аппарате массы главное значение имеет фикция равенства. Люди сравнивают себя с другими, тогда как каждый может быть самим собой, только если он не сравним ни с кем. То, что есть у другого, я тоже хочу иметь; то, что может другой, мог бы и я. Тайно господствует зависть, стремление наслаждаться, иметь больше и знать больше.

Если в прежние времена, для того чтобы знать, на что можно рассчитывать, следовало знакомиться с князьями и дипломатами, то теперь для этого нужно быть осведомленным о свойствах массы. Условием жизни стала необходимость выполнять какую-либо функцию, так или иначе служащую массам. Масса и ее аппарат стали предметом нашего самого животрепещущего жизненного интереса. В своем большинстве она господствует над нами. Для каждого, кто сам

не обманывает себя, она является сферой его полной служебной зависимости, деятельности, забот и обязательств. Он принадлежит ей, но она угрожает человеку гибелью в риторике и суете, связанными с ее утверждением «мы — все»; ложное ощущение силы этого утверждения улетучивается как «ничто». Расчлененная в аппарате масса бездуховна и бесчеловечна. Она — наличное бытие без существования, суеверие без веры. Она способна все растоптать, ей присуща тенденция не терпеть величия и самостоятельности, воспитывать людей так, чтобы они превращались в муравьев.

В процессе консолидации огромного аппарата по упорядочению жизни масс каждый должен ему служить и своим трудом участвовать в создании нового. Если он хочет жить, занимаясь духовной деятельностью, это возможно, только участвуя в умиротворении какой-либо массы людей. Он должен показать значимость того, что приятно массе. Она хочет обеспечения своего существования пропитанием, эротикой, самоутверждением; жизнь не доставляет ей удовольствия, если что-либо из этого отсутствует. Помимо этого, ей нужен способ познания самой себя. Она хочет быть ведомой, но так, чтобы ей

казалось, будто ведет она. Она не хочет быть свободной, но хочет таковой считаться. Для удовлетворения ее желаний фактически среднее и обычное, но не названное таковым, должно быть возвеличено или, во всяком случае, оправдано в качестве общечеловеческого. Недоступное ей именуется далеким от жизни. Для воздействия на массу необходима реклама. Поднимаемый ею шум служит в настоящее время формой, которую должно принимать каждое духовное движение. Тишина в человеческой деятельности в качестве формы жизни, по-видимому, исчезла. Необходимо показываться, читать доклады и произносить речи, вызывать сенсацию. В массовом аппарате в представительстве недостает подлинного величия. Нет празднеств. В подлинность праздников никто не верит, даже сами их участники. Достаточно представить себе папу совершающим торжественное путешествие через весь земной шар в центр нынешнего могущества, в Америку, примерно так, как он в Средние века разъезжал по Европе, и мы сразу же увидим, насколько несравним с прошлым феномен нашего времени.

Страх перед жизнью

Вместе с феноменальными успехами рационализации и универсализации порядка существования утвердилось сознание грозящего крушения вплоть до страха утратить все то, ради чего стоит жить.

Однако еще до осознания возможности этого ужасного будущего отдельного человека как такового охватывает страх, вызванный тем, что он не может жить оторванным от своих истоков, ощущая себя просто функцией. Современного человека постоянно сопровождает такой никогда ранее неведомый жуткий страх перед жизнью. Он боится утратить свое витальное бытие, которое, находясь под постоянной угрозой, находится более чем когда-либо в центре внимания; и совсем по-иному он боится за свое самобытие, до которого ему не удается подняться.

Страх распространяется на все. Он усиливает неуверенность, если о ней не удается забыть. Существование может защитить человека от забот лишь без гарантий. Жестокостей, совершаемых раньше скрытно, стало меньше, но о них знают, и они представляются страшнее, чем когда-либо.

Каждый человек должен, чтобы выстоять, напрячь свою рабочую силу до предела; постоянно возникает беспокойство, вызванное требованием работать еще интенсивнее; ведь известно, что тот, кто не успевает за другими, будет отброшен; люди, которым больше сорока лет, ощущают себя вытолкнутыми из общества. Существуют, правда, обеспечение, страхование, возможность сбережений; однако то, что соответственно современным масштабам считается необходимым минимумом для существования, не обеспечивается государственной и частной предусмотрительностью и всегда оказывается ниже требуемого уровня, хотя человек и не умирает с голоду.

Страх перед жизнью обращается и на тело. Несмотря на увеличивающиеся шансы на долгую жизнь, господствует все увеличивающаяся неуверенность в жизнеспособности. Потребность во врачебной помощи выходит далеко за рамки осмысленной медицинской науки. Если существование более не поддерживается душевными силами, становится невыносимым в невозможности даже постигнуть его значение, человек устремляется в свою болезнь, которая как нечто обозримое охватывает его и защищает.

Страх усиливается в сознании неизбежности

исчезнуть как потерянная точка в пустом пространстве, ибо все человеческие связи значимы лишь во времени. Связывающая людей в сообществе работа продолжается лишь короткое время. В эротических связях вопрос об обязанностях даже не ставится. Ни на кого нельзя положиться, и я также не ощущаю абсолютную связь с другим. Кто не участвует в том, что делают все, остается в одиночестве. Угроза быть брошенным создает ощущение подлинного одиночества, которое выводит человека из состояния сиюминутного легкомыслия и способствует возникновению цинизма и жестокости, а затем страха. Существование как таковое вообще превращается в постоянное ощущение страха.

Принимаются меры, чтобы заставить людей забыть о страхе и успокоить их. Организации создают сознание сопричастности. Аппарат обещает гарантии. Врачи внушают больным или считающим себя больными, что им не грозит смерть. Однако это помогает лишь на время, пока человек благополучен. Порядок существования не может изгнать страх, который ощущает каждое существо. Страх подавляется лишь страхом экзистенции за свое самобытие, заставляющим человека обращаться к религии или философии.

Страх жизни должен расти, если парализуется экзистенция.

Полное господство порядка существования уничтожило бы человека как экзистенцию, не успокоив его как витальное существование. Более того, именно абсолютизированный порядок существования создает непреодолимый страх перед жизнью.

Кризис

То, что в течение тысячелетий составляло мир человека, в настоящее время как будто потерпело крушение. Мир, возникающий в качестве аппарата обеспечения существования, принуждает все служить ему. То, чему в нем нет места, он уничтожает. Человек как будто растворяется в том, что должно быть лишь средством, а не целью, не говоря уже о смысле. Он не может обрести в этом удовлетворение; ему должно недоставать того, что придает ему ценность и достоинство. То, что во всех бедах было непререкаемым фоном его бытия, теперь находится в стадии исчезновения. Расширяя свое существование, он жертвует своим бытием, в котором он обретает себя.

Одно осознается всеми — с тем, что, собственно,

и составляет главное в жизни человека, неблагополучно. Все стало сомнительным; всему грозит опасность. Подобно тому как некогда принято было говорить, что мы живем в переходный период и тридцать лет тому назад наше духовное бытие определялось как «fin de siecle»[2], так теперь в каждой газете речь идет о кризисе.

Ищут основу этого кризиса и приходят к заключению, что это — кризис государственный; если характер правления не ведет к решительному волеизъявлению целого и согласие неустойчиво, то неустойчивым становится все. Иногда говорят о кризисе культуры как распаде духовности или, наконец, о кризисе самого человеческого бытия. Граница абсолютизированного порядка существования выступает настолько резко, что колебание распространяется на все.

В действительности сущность кризиса заключается в недостатке доверия. Если еще сохранялись обязательность формального права, нерушимость науки, прочие условности, то все это было лишь расчетом, не доверием. Когда все подчиняется целесообразности интересов существования, сознание субстанциальности целого

---

[2] Примечания: 2
Конец века *(фр.)*.

исчезает. В самом деле, сегодня невозможно доверять ни вещи, ни должности, ни профессии, ни лицу до того, как обретена уверенность в каждом данном конкретном случае. Каждому сведущему человеку известно об обманах, притворстве, ненадежности и в сфере его деятельности. Существует доверие только в самом маленьком кругу, но не доверие в рамках целого.

Все охвачено кризисом, необозримым и непостижимым в своих причинах, кризисом, который нельзя устранить, а можно только принять как судьбу, терпеть и преодолевать. Необозримость кризиса можно, в общем, приблизительно определять четырьмя способами.

Все технические и экономические проблемы принимают планетарный характер. Земной шар стал не только сферой переплетения экономических связей и единства технического господства над существованием; все большее количество людей видит в нем единое замкнутое пространство, в котором они соединены для развития процесса своей истории. В мировой войне впервые участвовало все человечество.

Объединение людей земного шара привело к процессу нивелирования, на который мы взираем с ужасом. Всеобщим сегодня всегда становится

поверхностное, ничтожное и безразличное. К этому нивелированию стремятся, будто оно создаст единение людей. В тропических плантациях и в северном рыбацком поселке демонстрируются фильмы столиц. Одежда повсюду одинакова. Одни и те же манеры, танцы, одинаковый спорт, одинаковые модные выражения; месиво, составленное из понятий Просвещения, англосаксонского позитивизма и теологической традиции, господствует на всем земном шаре. Искусство экспрессионизма было в Мадриде таким же, как в Москве и Риме. Всемирные конгрессы ведут к усилению этого нивелирования, поскольку там стремятся не к коммуникации гетерогенного, а к общности религии и мировоззрения. Расы смешиваются. Исторически сложившиеся культуры отрываются от своих корней и устремляются в мир технически оснащенной экономики, в пустую интеллектуальность.

Этот процесс только начался, но каждый человек, даже ребенок, втянут в него. Упоение расширением пространства уже начинает превращаться в ощущение его тесноты. Нам кажется странным, что Цеппелин, пролетая над Сибирью, еще не встречал людей, убегавших и прятавшихся от него. На кочевников взирают как на

остановившееся прошлое.

Прежде всего бросается в глаза необратимая утрата субстанциальности, остановить которую невозможно. На протяжении столетий физиогномика поколений все время снижается, достигая более низкого уровня. В каждой профессии наблюдается недостаток в нужных людях при натиске соискателей. В массе повсюду господствует заурядность; здесь встречаются обладающие специфическими способностями функционеры аппарата, которые концентрируются и достигают успеха. Путаница, вызванная обладанием почти всеми возможностями выражения, возникшими в прошлом, почти непроницаемо скрывает человека. Жест заменяет бытие, многообразие — единство, разговорчивость — подлинное сообщение, переживание — экзистенцию; основным аспектом становится бесконечная мимикрия.

Существует духовная причина упадка. Формой связи в доверии был авторитет; он устанавливал закон для неведения и связывал индивида с сознанием бытия. В XIX в. эта форма полностью уничтожена огнем критики. Результатом явился, с одной стороны, свойственный современному человеку цинизм; люди пожимают плечами, видя подлость, которая происходит в больших и ма-

лых масштабах и скрывается. С другой стороны, исчезла прочность обязательств в связывающей верности; вялая гуманитарность, в которой утрачена гуманность, оправдывает посредством бессодержательных идеалов самое ничтожное и случайное. После того как произошло расколдование мира, мы осознаем разбожествление мира, собственно говоря, в том, что нет больше непререкаемых законов свободы, и их место занимают порядок, соучастие, желание не быть помехой. Но нет такого воления, которое бы могло восстановить истинный авторитет. Его место заняли бы только несвобода и насилие. То, что могло бы заменить авторитет, должно возникнуть из новых истоков. Критика всегда служит условием того, что могло бы произойти, но созидать она неспособна. Некогда положительная жизненная сила, она сегодня рассеялась и распалась; она направляет свое острие даже против самой себя и ведет в бездну случайного. Смысл ее уже не может состоять в том, чтобы выносить суждения и решения в соответствии со значимыми нормами, ее истинная задача теперь в том, чтобы подступить близко к происходящему и сказать, каково оно. А это она сможет лишь в том случае, если она вновь будет одухотворена подлинным содер-

жанием и возможностью создающего себя мира.

* * *

На вопрос, что же теперь еще осталось, следует ответить: сознание опасности и утраты в качестве радикального кризиса. Сегодня это сознание — лишь возможность, а не обладание и гарантия. Всякая объективность стала двусмысленной; истина как будто заключена в невозвратимо утраченном, субстанция — в беспомощности, действительность — в маскараде. Тот, кто хочет преодолеть кризис и достигнуть истоков, должен пройти через утраченное, чтобы, усваивая, вспомнить; измерить беспомощность, чтобы принять решение о себе самом; испробовать маскарад, чтобы ощутить подлинное.

Новый мир может возникнуть из кризиса не посредством рационального порядка существования как такового; человек, являющийся чем-то большим, чем он создает в рамках этого порядка, обретает себя посредством государства в воле к своей целостности, для которой порядок существования становится просто средством, и в духовном творении, посредством которого он приходит к сознанию своей сущности. На обоих путях он может вновь удостовериться в истоках

и цели, в своем бытии человеком — в благородном и свободном самосозидании, утраченном им в том, что было лишь порядком существования. Если он полагает обрести в государстве существенное, то вскоре поймет, что государство само по себе еще не все, а лишь сфера осуществления возможного. Если же он доверится духу как бытию в себе, то присутствие его в каждой существующей объективности начнет вызывать у него сомнение. Он должен вернуться к началу, к бытию человеком, которое придает государству и духу полнокровность и действительность.

Тем самым человек привносит относительность в единственную связь, способную охватить всех, внешний порядок мира рассудочного целенаправленного мышления. Однако истина, создающая в человеке ощущение общности, является чисто исторической верой, которая никогда не может быть верой всех. Конечно, истина разумного понимания одна для всех, но истина, которой является сам человек, достигающая в нем ясности, отделяет его от других. В бесконечной борьбе исконной коммуникации возгорается чуждое в столкновении друг с другом; поэтому человек, который достиг своей сущности в духовной ситуации современности, отвергает на-

сильственно навязываемую всем веру. Единство целого в качестве постигаемого остается историческим для данного государства, дух остается связанным с его истоками жизнью, человек — его специфической незаменимой сущностью.

Жан Бодрийяр. Падение политики (Из книги «В тени молчаливого большинства». Перевод Н. Суслова)

Молчаливое большинство

Все хаотическое скопление социального вращается вокруг этого пористого объекта, этой одновременно непроницаемой и прозрачной реальности, этого ничто — вокруг масс.

Магический хрустальный шар статистики, они, наподобие материи и природных стихий, «пронизаны токами и течениями». Именно так, по меньшей мере, мы их себе представляем. Они могут быть «намагничены» — социальное окружает их, выступая в качестве статического электричества, но большую часть времени они образуют «массу» в прямом значении слова, иначе говоря, все электричество социального и политического они поглощают и нейтрализуют безвозвратно.

Они не являются ни хорошими проводниками политического, ни хорошими проводниками социального, ни хорошими проводниками смысла вообще.

Все их пронизывает, все их намагничивает, но

все здесь и рассеивается, не оставляя никаких следов. И призыв к массам, в сущности, всегда остается без ответа. Они не излучают, а, напротив, поглощают все излучение периферических созвездий Государства, Истории, Культуры, Смысла. Они суть инерция, могущество инерции, власть нейтрального.

Именно в этом смысле масса выступает характеристикой нашей современности — как явление в высшей степени имплозивное, не осваиваемое никакой традиционной практикой и никакой традиционной теорией, а может быть, и вообще любой практикой и любой теорией.

Воображению массы представляются колеблющимися где-то между пассивностью и необузданной спонтанностью, но всякий раз как энергия потенциальная, как запас социального и социальной активности: сегодня они — безмолвный объект, завтра, когда возьмут слово и перестанут быть «молчаливым большинством», — главное действующее лицо истории. Однако истории, достойной описания, — ни прошлого, ни будущего — массы как раз и не имеют. Они не имеют ни скрытых сил, которые бы высвобождались, ни устремлений, которые должны были бы реализовываться. Их сила является актуальной,

она здесь вся целиком, и это сила их молчания. Сила поглощения и нейтрализации, отныне превосходящая все силы, на массы воздействующие. Специфическая сила инертного, принцип функционирования которой чужд принципу функционирования всех схем производства, распространения и расширения, лежащих в основе нашего воображения, в том числе и воображения, намеренного эти схемы разрушить. Недопустимая и непостижимая фигура имплозии (возникает вопрос: применимо ли к имплозии слово «процесс»?), о которую спотыкаются все наши рассудочные системы и против которой они с упорством восстают активизацией всех значений, вспышкой игры всех означающих, маскируя главное — крушение смысла.

В вакууме социального перемещаются промежуточные объекты и кристаллические скопления, которые кружатся и сталкиваются друг с другом в рассудочном поле ясного и темного. Такова масса, соединенные пустотой индивидуальные частицы, обрывки социального и распространяемые средствами информации импульсы: непроницаемая туманность, возрастающая плотность которой поглощает все окрестные потоки энергии и световые пучки, чтобы рухнуть в конце

концов под собственной тяжестью. Черная дыра, куда проваливается социальное.

Итак, полная противоположность тому, что обозначается как «социологическое». Социология в состоянии лишь описывать экспансию социального и ее перипетии. Она существует лишь благодаря позитивному и безоговорочному допущению социального.

Устранение, имплозия социального от нее ускользают. Предположение смерти социального есть также и предположение ее собственной смерти.

Термином «масса» выражено не понятие. За этим без конца используемым в политической демагогии словом стоит рыхлое, вязкое, люмпеналитическое представление. Верная себе социология будет пытаться преодолеть его ограниченность, используя «более тонкие» категории социопрофессионального и классового, понятие культурного статуса и т.д. Стратегия ошибочная: бродя вокруг этих рыхлых и некритических представлений, можно пойти дальше, чем умная и критическая социология. Впрочем, задним числом оказывается, что и понятия класса, социальных отношений, власти, статуса, институции, и само понятие социального — все эти слишком

ясные, составляющие славу узаконенных наук понятия тоже всегда были только смутными представлениями, на которых, однако, остановились с тайной целью оградить определенный код от анализа.

Стремление уточнить содержание термина «масса» поистине нелепо: это попытка придать смысл тому, что его не имеет. Говорят: «масса трудящихся». Но масса никогда не является ни массой трудящихся, ни массой какого-либо другого социального субъекта или объекта. «Крестьянские массы» старого времени массами как раз и не были: массу составляют лишь те, кто свободен от своих символических обязанностей (пойман в бесконечные «сети») и кому предназначено быть уже только многоликим результатом функционирования тех самых моделей, которым не удается их интегрировать и которые в конце концов предъявляют их лишь в качестве статистических остатков. Масса не обладает ни атрибутом, ни предикатом, ни качеством, ни референцией. Именно в этом состоит ее определенность, или радикальная неопределенность. Она не имеет социологической «реальности». У нее нет ничего общего с каким-либо реальным населением, какой-либо корпорацией, какой-

либо особой социальной совокупностью. Любая попытка ее квалификации является всего лишь усилием отдать ее в руки социологии и оторвать от той неразличимости, которая не есть даже неразличимость равнозначности (бесконечная сумма равнозначных индивидов 1 + 1 + 1 + 1 — это ее социологическое определение), но выступает неразличимостью нейтрального, то есть ни того, ни другого («neuter»).

Полярности одного и другого в массе больше нет. Именно этим создаются данная пустота и разрушительная мощь, которую масса испытывает на всех системах, живущих расхождением и различием полюсов (двух или — в системах более сложных — множества). Именно этим определяется то, что здесь невозможен обмен смыслами: они тут же рассеиваются, подобно тому, как рассеиваются в пустоте атомы. Именно по этой причине в массе невозможно также и отчуждение: здесь больше не существуют ни один, ни другой.

Масса, лишенная слова, которая всегда распростерта перед держателями слова, лишенными истории. Восхитительный союз тех, кому нечего сказать, и масс, которые не говорят. Неподъемное ничто всех дискурсов. Ни истерии, ни

потенциального фашизма — уходящая в бездну симуляция всех потерянных систем референций. Черный ящик всей невостребованной референциальности, всех неизвлеченных смыслов, невозможной истории, ускользающих наборов представлений, — масса есть то, что остается, когда социальное забыто окончательно.

Что касается невозможности распространить здесь смысл, то лучший пример тому — пример Бога. Массы приняли во внимание только его образ, но никак не Идею. Они никогда не были затронуты ни Идеей Божественного, которая осталась предметом заботы клириков, ни проблемами греха и личного спасения. То, что их привлекло, это феерия мучеников и святых, феерии Страшного суда и пляски смерти, это чудеса, это церковные театрализованные представления и церемониал, это имманентность ритуального вопреки трансцендентности Идеи. Они были язычниками — они, верные себе, ими и остались, никак не тревожимые мыслями о Высшей Инстанции и довольствуясь иконами, суевериями и дьяволом. Практика падения по сравнению с духовным возвышением в вере? Пожалуй, даже и так.

Плоской ритуальностью и оскверняющей ими-

тацией разрушать категорический императив морали и веры, величественный императив всегда отвергавшегося ими смысла — это в их манере. И дело не в том, что они не смогли выйти к высшему свету религии, — они его проигнорировали. Они не прочь умереть за веру, за святое дело, за идола. Но трансцендентность, но связанные с ней напряженное ожидание, отсроченность, терпение, аскезу — то высокое, с чего начинается религия, они не признают. Царство Божие для масс всегда уже заранее существовало здесь, на земле — в языческой имманентности икон, в спектакле, который устроила из него Церковь. Невероятный отход от сути религиозного. Массы растворили религию в переживании чудес и представлений — это единственный их религиозный опыт.

Одна и та же участь постигла все великие схемы разума. Им довелось обрести себя и следовать своему историческому предназначению только на узких горных тропах социальности, удерживающей смысл (и прежде всего смысл социальный); но в массы они внедрились, по существу, лишь в искаженном виде, ценой крайней деформации. Так обстояло дело и с Разумом историческим, и с Разумом политическим, и с Разумом культур-

ным, и с Разумом революционным; так обстояло дело и с самим Разумом социального — самым для нас интересным, поскольку, казалось бы, уж он-то в массах укоренен и, более того, именно он и породил их в процессе своей эволюции.

Являются ли массы «зеркалом социального»? Нет, они не отражают социальное. Но они и не отражаются в нем — зеркало социального разбивается от столкновения с ними. Этот образ все-таки не точен, ибо снова наводит на мысль о полноте субстанции, глухом сопротивлении. Массы, однако, функционируют скорее как гигантская черная дыра, безжалостно отклоняющая, изгибающая и искривляющая все потоки энергии и световые излучения, которые с ней сближаются. Как имплозивная сфера ускоряющегося пространственного искривления, где все измерения вгибаются внутрь самих себя и свертываются в ничто, оставляя позади себя такое место, где может происходить только поглощение.

Пучина, в которой исчезает смысл

Каким бы ни было ее содержание — политическим, педагогическим, культурным, — именно

она обязана передавать смысл, удерживать массы в поле смысла. Бесконечные морализаторские призывы к информированию: гарантировать массам высокую степень осведомленности, обеспечить им полноценную социализацию, повысить их культурный уровень и т.д. — диктуются исключительно логикой производства здравомыслия. В этих призывах, однако, нет никакого толка: рациональная коммуникация и массы несовместимы. Массам преподносят смысл, а они жаждут зрелища. Убедить их в необходимости серьезного подхода к содержанию или хотя бы к коду сообщения не удалось никакими усилиями. Массам вручают послания, а они интересуются лишь знаковостью. Массы — это те, кто ослеплен игрой символов и порабощен стереотипами, это те, кто воспримет все, что угодно, лишь бы это оказалось зрелищным. Не приемлют массы лишь «диалектику» смысла. И утверждать, что относительно него кто-то вводит их в заблуждение, нет никаких оснований. Для производителей смысла такое во всех отношениях далекое от истины предположение, конечно, удобно: предоставленные сами себе массы якобы все же стремятся к естественному свету разума. В действительности, однако, все обстоит как раз наоборот: именно

будучи «свободными», они и противопоставляют свой отказ от смысла и жажду зрелищ диктату здравомыслия. Этого принудительного просвечивания, этого политического давления они опасаются, как смерти. Они чувствуют, что за полной гегемонией смысла стоит террор схематизации, и, насколько могут, сопротивляются ему, переводя все артикулированные дискурсы в плоскость иррационального и безосновного, туда, где никакие знаки смыслом уже не обладают и где любой из них тратит свои силы на то, чтобы завораживать и околдовывать, — в плоскость зрелищного.

Еще раз: дело не в том, будто они кем-то дезориентированы, — дело в их внутренней потребности, экспрессивной и позитивной контрстратегии, в работе по поглощению и уничтожению культуры, знания, власти, социального. Работе, идущей с незапамятных времен, но сегодня развернувшейся в полную силу. В контексте такого рода глубоко разрушительного поведения масс смысл неизбежно предстает как нечто совершенно противоположное тому, чем он казался ранее: отныне это не воплощение духовной силы наших обществ, под контролем которой рано или поздно оказывается даже и то, что пока от нее

ускользает, — теперь это, наоборот, только неясно очерченное и мимолетное явление, эффект, своим возникновением обязанный уникальной пространственной перспективе, сложившейся в данный момент времени (История, Власть и т. д.); и он, этот по-новому представший смысл, всегда затрагивает, по существу, только самую малую часть наших «обществ», да и то лишь внешним образом. Сказанное верно также и для уровня индивидов: проводниками смысла нам дано быть не иначе, как от случая к случаю — в сущности же мы образуем самую настоящую массу, большую часть времени находящуюся в состоянии неконтролируемого страха или смутной тревоги, по эту или по ту сторону здравомыслия.

Но этот новый взгляд на массы требует, чтобы мы пересмотрели все, что о них до сих пор говорилось.

Возьмем один из множества примеров пренебрежения смыслом, красноречиво характеризующий молчаливую пассивность.

В ночь экстрадиции Клауса Круассана телевидение транслирует матч сборной Франции в отборочных соревнованиях чемпионата мира по футболу. Несколько сотен человек участвуют в демонстрации перед тюрьмой Санте, несколько

адвокатов заняты разъездами по ночному городу, двадцать миллионов граждан проводят свой вечер перед экраном телевизора. Победа Франции вызывает всеобщее ликование. Просвещенные умы ошеломлены и возмущены столь вызывающим безразличием. Монд пишет: «21 час. В это время немецкий адвокат был уже вывезен из Санте. Через несколько минут Рошто забьет первый гол». Мелодрама негодования. И никакого серьезного анализа того, в чем же состоит тайна этой индифферентности. Постоянная ссылка на одно и то же: власть манипулирует массами, массы одурманены футболом.

Получается, что это безразличие не обязательно, для характеристики масс самих по себе оно ничего не значит. У «молчаливого большинства», иными словами, нет даже его индифферентности, и уличать и обвинять его в ней можно лишь после того, как власть все же склонит его к апатии.

Но сколько, однако, презрения в этом взгляде на массы! Считается, что, будучи дезориентированными, собственной линии поведения они иметь не могут. Правда, время от времени они якобы все же погружаются в родную для себя революционную стихию, благодаря чему «разумность их собственной воли» ими так или

иначе осознается. Но в остальных случаях, как полагают, надо молить Господа, чтобы он хранил нас от их молчания и их инертности. А ведь именно это безразличие и необходимо было бы по-настоящему проанализировать. Вместо того чтобы рассматривать его как следствие, результат действия своего рода белой магии, постоянно отвращающей, отводящей толпы от их природной революционности, нужно было бы взять его как нечто самостоятельное, в его собственной позитивной силе.

И почему, собственно говоря, это отвлечение масс от революционности удается? Не стоит ли задуматься над тем странным обстоятельством, что после многочисленных революций и сто- или даже двухсотлетнего обучения масс политике, несмотря на активность газет, профсоюзов, партий, интеллигенции — всех сил, призванных воспитывать и мобилизовывать население, все еще (а точно такой же ситуация будет и через десять, и через двадцать лет) только лишь тысяча человек готова к действию, тогда как двадцать миллионов остаются пассивными — и не только пассивными, но и открыто, совершенно откровенно и с легким сердцем, без всяких колебаний ставящими футбольный матч выше человече-

ской и политической драмы? Любопытно, что этот и подобные факты никогда не настораживали аналитиков — эти факты, наоборот, воспринимаются ими как подтверждение устоявшегося мнения, будто власть всемогуща в манипулировании массами, а массы под ее воздействием, со своей стороны, находятся в состоянии какой-то невообразимой комы. Однако в действительности ни того, ни другого нет, и то, и другое лишь видимость: власть ничем не манипулирует, массы не сбиты с толку и не введены в заблуждение. Власть слишком уж торопится некоторую долю вины за чудовищную обработку масс возложить на футбол, а большую часть ответственности за это дьявольское дело взять на себя. Она ни в коем случае не хочет расставаться с иллюзией своей силы и замечать обстоятельство куда более опасное, чем негативные последствия ее, как ей кажется, тотального влияния на население: безразличие масс относится к их сущности, это их единственная практика, и говорить о какой-либо другой, подлинной, а значит, и оплакивать то, что массами якобы утрачено, бессмысленно. Коллективная изворотливость в нежелании разделять те высокие идеалы, к воплощению которых их призывают, — это лежит на поверхности, и тем

не менее именно это и только это делает массы массами.

Массы ориентированы не на высшие цели. Разумнее всего признать данный факт и согласиться с тем, что любая революционная надежда, любое упование на социальное и на социальные изменения так и остаются надеждой и упованием исключительно по одной причине: массы уходят, самыми непостижимыми способами уклоняются от идеалов. Разумнее всего — вслед за Фрейдом, осуществившим подобную процедуру при исследовании строя психического, — именно этот осадок, это мутное отложение, этот не анализировавшийся и, возможно, вообще не поддающийся анализу слой разлагающихся остатков смысла и рассматривать в качестве ничем не обусловленной данности, из которой необходимо исходить. (Вполне понятно, почему такого рода решительно меняющий точку отсчета коперниканский переворот до сих пор не произошел в исследованиях мира политического: для воззрений на политическое он чреват самыми глобальными потрясениями.)

Возвышение и падение политики

По крайней мере, со времени Великой французской революции политика и социальное предстают как нечто нераздельное, как созвездия-близнецы, так или иначе находящиеся в поле притяжения экономики. Эта их тесная связь обнаруживается и в наше время, однако весьма своеобразно — в одновременности их заката.

Сначала, в эпоху Возрождения, когда она возникает, когда внезапно выходит из сферы религиозного и церковного, чтобы заявить о себе как таковой голосом Макиавелли, политика есть лишь чистая игра знаков, чистая стратегия, не обременяющая себя никакой социальной или исторической «истиной», но, напротив, играющая на ее отсутствии (точно так же позднее светская стратегия иезуитов будет играть на отсутствии Бога). Политическое пространство в начале своего существования — явление того же порядка, что и пространство ренессансного механического театра или изобретенной в это же время в живописи перспективы. Форма является формой игры, а не системой представления, семиургией и стратегией, а не идеологией — она предполагает

виртуозность, но никак не истину (такая игра, цепь ухищрений и их результат, изображена Бальтасаром Грасианом в его «Придворном»). Цинизм и имморализм макиавеллиевской политики связаны не с неразборчивостью в выборе средств, на чем настаивает крайне грубая ее интерпретация: их надо искать в свободном обращении с целями. Цинизм и имморализм, и это хорошо понимал Ницше, заключены именно здесь — в этом пренебрежении социальной, психологической и исторической истиной, в этом вобравшем в себя максимум политической энергии движении чистых симулякров, условием которого является то, что политика есть всего лишь игра и еще не отдала себя во власть разуму.

Но начиная с XVIII века, и особенно с Революции, направленность политического решительно меняется. Оно берет на себя функцию выражения социального, социальное становится его содержанием. Политическое теперь — это представление, над игрой властвуют механизмы репрезентации (аналогичным образом эволюционируют и театр — он оказывается театром представления, — и пространство перспективы — из пространства машинерии, каким оно бы-

ло первоначально, оно превращается в место фиксации истины пространства и истины репрезентации). Политическая сцена отныне отсылает к фундаментальному означаемому: народу, воле населения и т. д. На этот раз на нее выходят уже не чистые знаки, но смыслы: от политического действия требуется, чтобы оно как можно лучше изображало стоящую за ней реальность, чтобы оно было прозрачным, чтобы оно было нравственным и соответствовало социальному идеалу правильной репрезентации. И тем не менее равновесие между собственной сферой политического и силами, в ней отражающимися — социальными, историческими, экономическими, — будет сохраняться довольно долго. Так, во всяком случае, обстоит дело на протяжении золотого века буржуазных представительных систем (то есть в эпоху конституционности: Англия XVIII века, Соединенные Штаты Америки, Франция периода буржуазных революций, Европа 1848 года).

Конец политики, ее собственной энергии наступает с возникновением и распространением марксизма. Начинается эра полной гегемонии социального и экономического, и политическому остается быть лишь зеркалом — отражением

социального в областях законодательства, институциональности и исполнительной власти. Насколько возрастает господство социального, настолько теряет в самостоятельности политическое.

Если для либеральной мысли характерна своего рода ностальгия по диалектическому равновесию между этими двумя сферами, то мысль социалистическая, революционная решительно настаивает на том, что придет время, когда политическое исчезнет, растворится в полностью прозрачном социальном.

Социальное овладело политическим. Но теперь, став всеобщим и всепоглощающим, низведя политическое до нулевой степени его существования, превратившись в абсолютное исходное основание, будучи вездесущим, то есть проникая во все щели физического и ментального пространства, — сохраняется ли оно еще как таковое? Нет, эта новая его форма свидетельствует о его конце: его энергия обращена против самой себя, его специфика исчезает, его исторической и логической определенности больше не существует. Утверждается нечто, в чем рассеивается не только политическое — его участь постигает и само социальное. У социального больше нет

имени. Вперед выступает анонимность.

Масса. Массы

Политическое как таковое, политическое чисто стратегической направленности угасает сначала в системе репрезентации, а окончательно — в рамках современной неофигуративности. Последняя предполагает все ту же самовозрастающую знаковость, но знаки теперь уже не обозначают: в «действительности», реальной социальной субстанции, им больше ничто не «соответствует». Что может выражаться в политическом, чем может обеспечиваться эффективная работа его знаков, если социального референта сегодня нет даже у таких классических категорий, как «народ», «класс», «пролетариат», «объективные условия»? Исчезает социальное означаемое — рассеивается и зависимое от него политическое означающее.

Единственный оставшийся референт — референт «молчаливого большинства». Этим темным бытием, этой текучей субстанцией, которая наличествует не социально, а статистически и обнаружить которую удается лишь приемами зондажа, обусловлены все функционирующие

сегодня системы. Сфера ее проявления есть сфера симуляции в пространстве социального, или, точнее, в пространстве, где социальное уже отсутствует.

Но молчаливое большинство (каковым являются массы) — референт мнимый. Это не значит, что оно не существует. Это значит, что оно не может иметь какой-либо репрезентации. Массы уже не выражают себя — их зондируют. Они не рефлектируют — их подвергают тестированию. Политический референт уступил место референдуму (организатор постоянного, никогда не прекращающегося референдума — средства массовой информации). Однако зондирования, тесты, референдум, средства массовой информации выступают в качестве механизмов, которые действуют уже в плане симуляции, а не репрезентации. И ориентированы они уже на модель, а не на референт. С механизмами классической социальности (в состав которых по-прежнему входят выборы, институции, инстанции репрезентации, а также подавления) дело обстоит совершенно иначе: здесь все еще в силе диалектическая структура, поддерживающая ставки политики и различные противоречия, здесь все еще в силе социальный смысл, который перемещается от

полюса к полюсу.

У механизма симуляции эта структура отсутствует. В паре зондаж/молчаливое большинство, к примеру, нет ни противоположных, ни вообще выделенных элементов; нет, следовательно, и потока социального: его исчезновение — результат смешения полюсов в движении тотальной сигнальности (точно так же обстоит дело и на уровне ДНК и генетического кода — с молекулярной командой и субстанцией, в отношении которой она подается). Именно таким образом — по схеме сокрушения полюсов и круговращения моделей — и развертывается симуляция (это матрица любого имплозивного процесса).

Бомбардируемые рассчитанными на ответную реакцию сигналами, забрасываемые посланиями, атакуемые тестовыми испытаниями, массы оказываются теперь лишь непрозрачным, непроницаемым образованием, подобным тем скоплениям звездного газа, которые изучаются только методом анализа их светового спектра — данные статистики и результаты зондажа играют здесь ту же роль, что и спектр излучений. И речь теперь идет не о выражении или представлении, а исключительно о симуляции больше уже не выражаемого и в принципе невыразимого

социального. Такова природа молчания масс. Но оно, следовательно, парадоксально — это не молчание, которое не говорит, это молчание, которое накладывает запрет на то, чтобы о нем говорили от его имени. Оно, стало быть, является отнюдь не формой отстраненности, а совершеннейшим по своему характеру оружием.

У молчаливого большинства не бывает представителей — репрезентация расплачивается за свое прошлое господство. Массы уже не инстанция, на которую можно было бы ссылаться, как когда-то на класс или народ. Погруженные в свое молчание, они больше не субъект (прежде всего не субъект истории) и, следовательно, не могут войти в сферу артикулированной речи, в сферу представления, не могут проходить «стадию (политического) зеркала» и цикл воображаемых идентификаций. Отсюда их главная особенность: не будучи субъектом, они уже не могут оказаться отстраненными от самих себя — ни в языке собственном (у них его нет), ни в любом другом, который претендовал бы на то, чтобы им стать. Но тогда революционные ожидания напрасны. Ибо они всегда основывались на вере в способность масс, как и класса пролетариев, отрицать себя как таковых. Однако масса — это поле погло-

щения и имплозии, а не негативности и взрыва.

Масса избегает схем освобождения, революции и историчности — так она защищается, принимает меры против своего Я. Она функционирует по принципу симуляции и мнимого референта, предполагающему политический класс-фантом и исключающему какую-либо «власть» массы над самой собой — масса есть в то же время и смерть, конец политического процесса, которому она могла бы оказаться подконтрольной. Она губит и политическую волю, и политическую репрезентацию.

Долгое время казалось, что апатия масс должна приветствоваться властью. У власти сложилось убеждение, что чем пассивнее массы, тем эффективнее можно ими управлять. Исходя из него, она и действовала в период, когда властные механизмы были централизованы и бюрократизированы. Однако сегодня последствия этой стратегии оборачиваются против самой власти: безразличие масс, которое она активно поддерживала, предвещает ее крах. Отсюда радикальная трансформация ее стратегических установок: вместо поощрения пассивности — подталкивание к участию в управлении, вместо одобрения молчания — призывы высказываться. Но время

уже ушло. «Масса» стала «критической», эволюция социального сменилась его инволюцией в поле инертности.

От масс постоянно требуют, чтобы они подали свой голос, им навязывают социальность избирательных кампаний, профсоюзных акций, сексуальных отношений, контроля за руководством, празднований, свободного выражения мнений и т. д. Призрак должен заговорить, и он должен назвать свое имя. Молчание масс, безмолвие молчаливого большинства — вот единственная подлинная проблема современности.

На то, чтобы удержать эту массу в состоянии управляемой эмульсии и защититься от инерции ее неконтролируемой тревожности, тратится огромная энергия. Воля и репрезентация над массой уже не властвуют, но она сталкивается с напором диагностики, чистой проницательности. Она попадает в безграничное царство информации и статистики: нужно уловить ее самочувствие, выяснить позицию, побудить высказать какое-то пророчество. С ней активно заигрывают, ее окружают заботой, на нее воздействуют. И она откликается: «Французский народ полагает… Большая часть немцев осуждает… Вся Англия испытывает неописуемую радость по

поводу рождения принца…» и т.д.

Ее предсказания кажутся следствиями ее дара предвосхищения и ее всезнания, но в них абсолютно ничто не отражается.

Отсюда эта бомбардировка массы знаками, на которую ей полагается отвечать, подобно эху. Ее исследуют методом сходящихся волн, используя световые и лингвистические сигналы — совсем как удаленные звезды или ядра, которые бомбардируют частицами в циклотроне. На сцену выходит информация. Но не в плане коммуникации, не в плане передачи смысла, а как способ поддержания эмульсионности, реализации обратной связи и контролируемых цепных реакций — точно в таком же качестве она выступает в камерах атомной симуляции. Высвобождаемая «энергия» массы должна быть направлена на построение «социального».

Однако результат получается обратным. Развертывание информационности и средств защиты, в каких бы формах оно ни происходило, ведет к тому, что социальное не упрочивается, а, наоборот, теряет свою определенность, гибнет.

Принято считать, что, вводя в массы информацию, их структурируют, что с помощью информации и посланий высвобождается за-

ключенная в них социальная энергия (сегодня уровень социализации измеряется не столько степенью развитости институциональных связей, сколько количеством циркулирующей информации и тем, какой ее процент распространяется телевидением, радио, газетами и т.д.). На самом же деле все складывается прямо противоположным образом. Вместо того чтобы трансформировать массу в энергию, информация осуществляет дальнейшее производство массы. Вместо того чтобы информировать, то есть в соответствии с ее предназначением придавать форму и структуру, она еще больше ослабляет — «поле социальности» под ее воздействием неуклонно сокращается. Все увеличивающаяся в своих размерах создаваемая ею инертная масса совершенно неподконтрольна классическим социальным институциям и невосприимчива к содержанию самой информации. Ранее властвовало социальное — и его рациональная сила разрушала символические структуры, сегодня на первый план выходят «mass media» и информация — и их «иррациональным» неистовством разрушается уже социальное. Ибо благодаря им мы имеем дело именно с ней — этой состоящей из атомов, ядер и молекул массой. Таков итог двух

веков усиленной социализации, знаменующий ее полный провал.

Масса является массой только потому, что ее социальная энергия уже угасла. Это зона холода, способная поглотить и нейтрализовать любую действительную активность. Она похожа на те практически бесполезные устройства, которые потребляют больше, чем производят, на те уже истощенные месторождения, которые продолжают эксплуатировать, неся большие убытки.

Энергия, затрачиваемая на ликвидацию отрицательных последствий постоянного снижения отдачи от политических мероприятий, на предотвращение окончательного распада социальной организации реальности, на то, чтобы поддержать симуляцию социального и помешать его полному поглощению массой, — эта энергия огромна, и ее потеря низвергает систему в пропасть.

Со смыслом дело обстоит, в сущности, так же, как с товаром. Долгое время капитал заботился только о производстве — с потреблением затруднений не возникало. Сегодня надо думать и о потреблении, а значит, производить не только товары, но и потребителей, производить сам спрос. И это второе производство неизмеримо

дороже первого (социальное родилось главным образом из этого кризиса спроса, особенно заметного начиная с 1929 года: производство спроса и производство социального — это в значительной мере одно и то же).

Но точно так же и власть в течение долгого времени довольствовалась лишь тем, что производила смысл (политический, идеологический, культурный, сексуальный); спрос же развивался сам, он вбирал в себя предложение и тут же ожидал нового. Смысла недоставало, и всем революционерам приходилось приносить себя в жертву наращиванию его производства. Сейчас дело обстоит иначе: смысл повсюду, его производят все больше и больше, и недостает уже не предложения, а как раз спроса. Производство спроса на смысл — вот главная проблема системы. Без этого спроса, без этой восприимчивости, без этой минимальной причастности смыслу власть оказывается не более чем простым симулякром, всего лишь эффектом пространственной перспективы. Однако и в данном случае второе производство — производство спроса на смысл — гораздо дороже, чем производство первое — то есть производство самого смысла. И в конце концов производство спроса на смысл станет

неосуществимым: энергии системы на него больше не хватит. Спрос на предметы и услуги, пусть и дорогой ценой, всегда может быть создан искусственно: у системы есть соответствующий опыт. Но потребность в смысле, но желание реальности, однажды исчезнув, восстановлению уже не поддаются. Для системы это катастрофа.

Масса впитывает всю социальную энергию, и та перестает быть социальной энергией. Масса вбирает в себя все знаки и смысл, и те уже не являются знаками и смыслом. Она поглощает все обращенные к ней призывы, и от них ничего не остается. На все поставленные перед ней вопросы она отвечает совершенно одинаково. Она никогда ни в чем не участвует. Ее подвергают разного рода воздействиям и тестовым испытаниям, но она представляет собой именно массу, и потому с полным безразличием пропускает сквозь себя и воздействия (причем все воздействия), и информацию (причем всю информацию), и нормативные требования (причем все нормативные требования). Она навязывает социальному абсолютную прозрачность, оставляя шансы на существование лишь эффектам социального и власти — этим созвездиям, вращающимся вокруг уже отсутствующего ядра.

Молчание массы подобно молчанию животных, более того, оно ничем не отличается от последнего. Бесполезно подвергать массу интенсивному допросу (а непрерывное воздействие, которое на нее обрушивается, натиск информации, который она вынуждена выдерживать, равносильны испытаниям, выпадающим на долю подопытных животных в лабораториях) — она не скажет ни того, где для нее — на стороне левых или на стороне правых — истина, ни того, на что она — на освободительную революцию или на подавление — ориентирована. Масса обходится без истины и без мотива. Для нее это совершенно пустые слова. Она вообще не нуждается ни в сознании, ни в бессознательном.

Такое молчание невыносимо. Оно является неизвестным политического уравнения, аннулирующим любые политические уравнения. Все стремятся в нем разобраться, однако обращаются с ним не как с молчанием — им всегда необходимо, чтобы оно заговорило. Но зондированию сила инерции масс неподвластна: она не поддается ему потому, что как раз благодаря ей массы нейтрализуют любое зондирующее исследование. Это молчание переводит политическое и социальное в сферу гиперреальности, где они сейчас

и находятся. Ибо если политическое пытается ограничить массы пространством, где царствуют эхо и социальная симуляция (используя информацию и средства информирования), то массы, со своей стороны, и оказываются таким пространством эха и невиданной симуляции социального. Здесь никогда не было никакой манипуляции. В игре участвовали обе стороны, они находились в равных условиях, и никто сегодня, видимо, не может с уверенностью сказать, какая же из них одержала верх: симуляция, с которой обрушилась на массы власть, или ответная симуляция, обращенная массами в направлении распадающейся под ее влиянием власти.

Ни субъект, ни объект

Масса парадоксальна — она выступает одновременно и объектом симуляции (поскольку существует только в пункте схождения всех волн информационного воздействия, которые ее описывают), и ее субъектом, способным на гиперсимуляцию: все модели она видоизменяет и снова приводит в движение (это ее гиперконформизм, характерная форма ее юмора).

Масса парадоксальна — она не является ни

субъектом (субъектом-группой), ни объектом. Когда ее пытаются превратить в субъект, обнаруживают, что она не в состоянии быть носителем автономного сознания. Когда же, наоборот, ее стремятся сделать объектом, то есть рассматривают в качестве подлежащего обработке материала, и ставят целью проанализировать объективные законы, которым она якобы подчиняется, становится ясно, что ни обработке, ни пониманию в терминах элементов, отношений, структур и совокупностей она не поддается. Любое воздействие на массу, попадая в поле ее тяготения, начинает двигаться по кругу: оно проходит стадии поглощения, отклонения и нового поглощения. Чем такое воздействие завершится, с абсолютной точностью предсказать невозможно, но вероятнее всего, что непрерывное круговое движение отнимет у него все силы и оно угаснет, полностью перечеркнув планы тех, кто его предпринял. Эта диффузная, децентрированная, броуновская, состоящая из молекулярных образований реальность неподвластна никакому анализу: понятие объекта к ней неприложимо точно так же, как оно неприложимо и к предельному уровню материи, «анализируемому» в микрофизике. Область «материи» элементарных частиц — это место, где

нет ни объекта, ни субъекта, субъекта наблюдения. Ни объект познания, ни субъект познания здесь больше не существуют.

Масса олицетворяет такое же — пограничное и парадоксальное — состояние социального. Она уже не объективируема (на языке политики это значит, что она не может иметь представительства) и останавливает любую активность, которая оказывается активностью стремящегося к ее постижению субъекта (в политическом плане это значит, что она предотвращает любые попытки выступать от ее имени). Выражать ее способны лишь зондаж и статистика (работающие в том же режиме, что и математическая физика, опирающаяся на закон больших чисел и теорию вероятностей), но очевидно, что практика заклинаний и магических ритуалов, взятая ими на вооружение, — это практика без действительного объекта, и в отношении масс она оправдывает себя только потому, что массы таким объектом как раз и не являются. Заклинания и ритуалы имеют дело не с объектом, который может быть представлен, а с объектом, от представления ускользающим, ориентированным на исчезновение. Ими он поэтому не схватывается, а всего лишь симулируется. Ими он «произво-

дится»: они предрешают то, как он отреагирует на воздействия, предопределяют характер поступающих от него сигналов. Но эта реакция и эти сигналы выступают, очевидно, и его собственными реакцией и сигналами, свидетельствуют и о его собственной воле. Содержание, выражаемое неустойчивыми, существующими очень короткое время, предназначенными для реализации некоторого воздействия знаками — а знаки зондажа являются именно таковыми, — допускает различные и вместе с тем одинаково возможные толкования. Всем известно, сколь фундаментальна неопределенность, имеющая место в мире статистики (теория вероятностей и теоремы закона больших чисел также исходят из неопределенности и также вряд ли могут основываться на представлении о материи, которой свойственны те или иные «объективные законы»).

Утверждение, что методы научного эксперимента, используемые в так называемых точных науках, гарантируют знанию гораздо более высокую степень истинности, чем приемы зондажа и статистических исследований, весьма сомнительно. Если «объективное» познание, в какой бы конкретно науке оно ни осуществлялось, подчиняется системе установленных

правил, регулируется, то и оно связано с истиной, являющейся только циркуляром, то есть движущимся по кругу сигналом, и не предполагающей никакого объекта. У нас, во всяком случае, достаточно оснований полагать, что мир все же не объективируем и что даже неодушевленная материя, с которой различные науки о природе обходятся так же (один и тот же подход, одни и те же процедуры), как статистика и зондирующее исследование обходятся с массами и одушевленным «социальным», — даже неодушевленная материя реагирует на воздействие сигналами, оказывающимися всего лишь отраженными сигналами воздействия, выдает ответы, уже заранее содержащиеся в обращенных к ней вопросах. Она тоже, как и массы, демонстрирует тот постоянно раздражающий конформизм, который в конце концов и позволяет ей, как он позволяет это и массам, благополучно избежать участи стать объектом.

«Материи», да и, по всей видимости, любому «объекту» науки вообще, свойственна та же удивительная ироничность, что характеризует и массы, когда они молчат или когда, воспользовавшись языком статистики, отвечают на вопросы именно так, как от них и требуется. Эта

ироничность сближается с бесконечной иронией женственности, о которой говорит Гегель, — иронией притворной преданности и чрезмерной законопослушности.

Она симулирует пассивность и покорность столь тщательно, что от последних, как в случае с бессмертным солдатом Швейком, по сути дела, уже ничего не остается.

Именно ее, судя по всему, и имеет в виду патафизика, или наука о воображаемых решениях — наука о симуляции и гиперсимуляции вполне определенного, подлинного, объективного, подчиняющегося универсальным законам мира, включая симуляцию и гиперсимуляцию, осуществляемые теми, кто категорически убежден, что мир подчиняется данным законам. Очевидно, именно благодаря массам и их непроизвольному юмору мы и входим в патафизику социального, наконец освобождающую нас от всей этой метафизики социального, которая давно нам мешает.

Сказанное полностью противоречит тому, что принято понимать под процессом постижения истины, но последний, похоже, лишь иллюзия движения смысла. Ученый не может согласиться с мнением, согласно которому неживая материя или живое существо отвечают на обращенные

к ним «вопросы» «не вполне» или, наоборот, «слишком объективно» (в обоих случаях это означает, что «вопросы» поставлены неправильно). Уже само такое предположение кажется ему абсурдным и недопустимым. Ученые бы его никогда не выдвинули. И они поэтому никогда не выйдут из заколдованного круга производимой ими симуляции строгого исследования.

Повсюду в силе одна и та же гипотеза, одно и то же полагание надежности. Тот, кто занимается рекламой, просто обязан исходить примерно из следующего: люди к рекламе так или иначе прислушиваются, и поэтому всегда существует хотя бы минимальная возможность того, что послание достигнет своей цели и смысл его будет расшифрован. Всякое сомнение на этот счет должно быть исключено. Если бы выяснилось, что показатель преломления потока сообщений у получателя равен нулю, здание рекламы рухнуло бы в ту же минуту. Реклама живет исключительно этой верой, которую она постоянно в себе поддерживает (речь идет о ставке того же рода, что и ставка науки на объективность мира) и которую даже и не пытается по-настоящему проанализировать из страха обнаружить, что столь же правомерно предположить и обратное, а именно что огром-

ное большинство рекламных сообщений никогда не доходит по назначению, что тем, кому они направлены, уже безразлично их содержание, преломляющееся теперь в пустоте, что людей интересует только медиум — носители посланий, выступающие эффектами среды, эффектами, движение которых выливается в завораживающий спектакль. Маклюэн когда-то сказал: «Medium is message». Эта формула как нельзя лучше характеризует современную, «cool», фазу развития всей культуры средств массовой информации, фазу охлаждения, нейтрализации любых сообщений в пустом эфире, фазу замораживания смысла. Критическая мысль оценивает и выбирает, она устанавливает различия и с помощью селекции заботится о смысле. Массы поступают иначе: они не выбирают, они производят не различия, а неразличенность, требующему критической оценки сообщению они предпочитают погружающий в гипноз медиум. Гипнотическое состояние свободно от смысла, и оно развивается по мере того, как смысл остывает. Оно имеет место там, где царствуют медиум, идол и симулякр, а не сообщение, идея и истина. Однако именно на этом уровне и функционируют средства массовой информации. Использование гипноза — это

принцип их действия, и, руководствуясь им, они оказываются источником специфического массированного насилия — насилия над смыслом, насилия, отрицающего коммуникацию, основанную на смысле, и утверждающего коммуникацию иного рода. Возникает вопрос: какую же?

Гипотеза, согласно которой коммуникация может осуществляться вне медиум-смысла и интенсивности коммуникативного процесса и снижаться по мере того, как этот смысл растворяется и исчезает, — для нас неприемлема. Ибо подлинное удовольствие мы испытываем не от смысла или его нарастания — нас очаровывает как раз их нейтрализация. Нейтрализация, порождаемая не каким-то влечением к смерти (его действие свидетельствовало бы о том, что жизнь все еще ориентирована в сторону смысла), но просто-напросто враждебностью, отвращением к референции, посланию, коду, к любым категориям лингвистического предприятия — порождаемая отказом от всего этого во имя одной лишь очаровывающей имплозии знака (последняя состоит в растворении полюсов значения: больше нет ни означающего, ни означаемого). Мораль смысла во всех отношениях представляет собой борьбу с очарованием — вот чего не может

понять ни один из защитников смысла.

Исключительно из полагания надежности исходит и политическая сфера: для нее массы восприимчивы к действию и дискурсу, имеют мнение, наличествуют как объект зондажа и статистических исследований. Только при этом условии политический класс все еще может сохранять веру в то, что он и выражает себя, и понимается именно как явление политики. Однако в действительности политическое уже давно превратилось всего лишь в спектакль, который разыгрывается перед обывателем. Спектакль, воспринимаемый как полуспортивный-полуигровой дивертисмент (вспомним выдвижение кандидатов в президенты и вице-президенты в Соединенных Штатах или вечерние предвыборные дебаты на радио и телевидении), в духе завораживающей и одновременно насмешливой старой комедии нравов. Предвыборное действо и телеигры — это в сознании людей уже в течение длительного времени одно и то же. Народ, ссылки на интересы которого были всегда лишь оправданием очередного политического спектакля и которому позволяли участвовать в данном представлении исключительно в качестве статиста, берет реванш — он становится зрителем

спектакля театрального, представляющего уже политическую сцену и ее актеров.

Народ оказался публикой. Моделью восприятия политической сферы служит восприятие матча, художественного или мультипликационного фильма. Точно так же, как зрелищем на домашнем телеэкране, население заворожено и постоянными колебаниями своего собственного мнения, о которых оно узнает из ежедневных газетных публикаций результатов зондажа. И ничто из этого не рождает никакой ответственности. Сознательными участниками политического или исторического процесса массы не становятся ни на минуту. Они вошли когда-то в политику и историю только с тем, чтобы дать себя уничтожить, то есть будучи как раз абсолютно безответственными. Здесь нет бегства от политического — это следствие непримиримого антагонизма между классом (возможно, кастой), несущим социальное, политическое, культуру, властвующим над временем и историей, и всем тем, что осталось, — бесформенной, находящейся вне сферы смысла массой. Первый постоянно стремится укрепить смысл, поддержать и обогатить поле социального, вторая не менее настойчиво обесценивает любую смысловую энергию, ней-

трализует ее или направляет в обратную сторону. И верх в этом противостоянии взял отнюдь не тот, кто считается победителем.

Свидетельством тому может служить радикальное изменение взаимоотношения между историей и повседневностью, между публичной и частной сферами. Вплоть до 60-х годов полюсом силы выступала история: частное, повседневное оказывались лишь обратной, теневой стороной политического. Поскольку, однако, взаимодействие данных сторон выглядело в высшей степени диалектичным, имелись все основания надеяться, что повседневное, равно как и индивидуальное, однажды займет достойное место по ту сторону исторического, в царстве универсальности. Конечно, эта перспектива воспринималась как отдаленная — слишком очевидными были вызывающие сожаление ограниченность активности масс сферой домашнего хозяйства, их отказ от истории, политики и универсального, их рабская зависимость от процесса тупого каждодневного потребления (успокаивало одно: они заняты трудом, благодаря чему за ними сохраняется статус исторического «объекта» — до того момента, пока они не обретут сознание). Сегодня представление о том, какой из двух полюсов явля-

ется сильным, а какой слабым, становится прямо противоположным: мы начинаем подозревать, что повседневное, будничное существование людей — это, весьма вероятно, вовсе не малозначащая изнанка истории и, более того, что уход масс в область частной жизни — это, скорее всего, непосредственный вызов политическому, форма активного сопротивления политической манипуляции. Роли меняются: полюсом силы оказываются уже не историческое и политическое с их абстрактной событийностью, а как раз обыденная, текущая жизнь, все то (включая сюда и сексуальность), что заклеймили как мелкобуржуазное, отвратительное и аполитичное.

Итак, полный переворот во взглядах. Деполитизированные массы, судя по всему, находятся не по эту, а по ту сторону политического. Частное, низкое, повседневное, малозначимое, маленькие хитрости, мелкие извращения и т.д., по всей видимости, располагаются не по эту, а по ту сторону репрезентации. Массы, как выясняется, озабочены приведением в исполнение того смертного приговора политическому, который они вынесли, не дожидаясь исследований на тему «конца политики»; в своей «наивной» практике они трансполитичны в той же мере, в какой они

транслингвистичны в своем языке.

Но обратим внимание: из этой вселенной частного и асоциального, не подчиняющейся диалектике репрезентации и выхода к универсальности, из этой сферы инволюции, противостоящей любой революции в верхах и отказывающейся играть ей на руку, кое-кто хотел бы сделать (рассматривая ее прежде всего в аспекте сексуальности и желания) новый источник революционной энергии, хотел бы возвратить ей смысл и восстановить в правах как некую историческую отрицательность, причем во всей ее тривиальности. Налицо стремление активизировать микрожелания, мелкие различия, слепые практики, анонимную маргинальность. Налицо последняя попытка интеллектуалов усилить незначительное, продвинуть бессмыслие в порядок смысла. И образумить тем самым данное бессмыслие политически. Банальность, инертность, аполитизм были фашистами, теперь они близки к тому, чтобы стать революционерами — и все это не меняя смысла, то есть не переставая иметь смысл. Микрореволюция банальности, трансполитика желания являются еще одним трюком «освободителей». На самом же деле отказ от смысла смысла не имеет.

От сопротивления к гиперконформизму

Появление молчаливого большинства нужно рассматривать в рамках целостного процесса исторического сопротивления социальному. Конечно, сопротивления труду, но также и медицине, школе, разного рода гарантиям, информации. Официальная история регистрирует лишь одну сторону дела — прогресс социального, оставляя в тени все то, что, будучи для нее пережитками предшествующих культур, остатками варварства, не содействует этому славному движению. Она подводит к мысли, что на сегодняшний день социальное победило полностью и окончательно, что оно принято всеми. Но с развитием социальности развивалось и сопротивление ей, и последнее прогрессировало еще более быстрыми темпами, чем сама социальность. И теперь оно существует по преимуществу уже не в тех грубых и примитивных формах, которые были свойственны ему вначале (сегодня прогрессу социального благодарны, сегодня только сумасшедшие отказываются пользоваться такими

благами цивилизации, как письменность, вакцинация или социальные гарантии). Прежнее открытое сопротивление соответствовало этапу столь же открытой и грубой социализации и исходило от традиционных групп, стремящихся сохранить свою культуру, изначальный уклад жизни. Гомогенной и абстрактной модели социального сопротивлялась еще не масса, а дифференцированные структуры.

Этот прежний тип сопротивления проанализирован в концепции «two steps flow of communication» («двухуровневой коммуникации»), которая разработана американской социологией и согласно которой масса вовсе не образует структуру пассивного приема сообщений средств информации, будь то сообщения политического, культурного или рекламного характера. На первом уровне коммуникативного процесса микрогруппы и индивиды их расшифровывают, но, совершенно не склонные к точному, в соответствии с установленными правилами, их прочтению, делают это по-своему. На втором — они с помощью своих лидеров этот поток посланий захватывают и преобразуют. Они начинают с того, что господствующему коду противопоставляют свои особые субкоды,

а заканчивают тем, что любое приходящее к ним сообщение заставляют циркулировать в рамках специфического, определяемого ими самими цикла. Но точно так же поступают и дикари, у которых европейские деньги находятся в уникальном, характерном только для их культур символическом обращении (к примеру, у сианов Новой Гвинеи), или корсиканцы, у которых система всеобщего избирательного права и выборности функционирует по законам соперничества кланов. Эта манера подсистем добиваться своего путем присвоения, поглощения, подчинения распространяемого доминирующей культурой материала, эта их хитрость заявляет о себе повсюду. Именно благодаря ей «отсталые» массы превращают медицину в своеобразную «магию». И они делают это не по причине, как принято считать, архаичности и иррациональности своего мышления, а потому, что и в данной ситуации придерживаются характерной для них активной стратегии нейтрализующего присвоения, не анализируемого ими, но тем не менее сознательного (ибо они обладают сознанием «без знания») противодействия внешнему — стратегии, которая позволяет им с успехом защититься от губительного для них влияния рациональной

медицины.

Однако здесь перед нами именно структурированные, традиционные — и с формальной, и с содержательной точек зрения — группы. Иное дело — когда угроза для социализации исходит от масс, то есть групп чрезвычайно многочисленных, внушающих страх и безликих, сила которых заключена, наоборот, в их бесструктурности и инертности. В случае со средствами массовой информации традиционное сопротивление сводится к тому, чтобы интерпретировать сообщения по-своему — в рамках особого кода группы и в контексте ее установок. Массы же принимают все и абсолютно все делают зрелищным; им не требуется другой код, им не требуется смысл; они, в сущности, не сопротивляются — они просто обрекают все на соскальзывание в некую неопределенную сферу, которая даже не является сферой бессмыслия, а выступает областью всеохватывающего гипноза/манипуляции.

Всегда считалось, что массы находятся под влиянием средств массовой информации — на этом построена вся идеология последних. Сложившееся положение объясняли эффективностью знаковой атаки на массу. Но при таком весьма упрощенном понимании процесса коммуни-

кации упускается из виду, что масса — медиум гораздо более мощный, чем все средства массовой информации, вместе взятые, что, следовательно, это не они ее подчиняют, а она их захватывает и поглощает, или, по меньшей мере, она избегает подчиненного положения. Существуют не две, а одна-единственная динамика — динамика массы и одновременно средств массовой информации. «Mass(age) is message».

Та же ситуация и с кино, которое создавалось как медиум рационального, документального, содержательного, социального и которое очень быстро и решительно сместилось в сферу воображаемого.

Та же ситуация и с техникой, наукой и знанием. Они обречены на существование в качестве магических практик и предназначенных для потребления зрелищ. Та же ситуация и с самим потреблением. Экономисты, к своему изумлению, так и не смогли рационализировать его, несмотря на основательность их «теории потребностей», несмотря на согласие массы с их рассуждениями о том, что в действительности является полезным, а что нет. Ибо на поведении массы этот ее консенсус с экономистами обычно (а может быть, и никогда) не сказывается.

Масса перевела потребление в плоскость, где его уровень оказывается показателем статуса и престижа, где оно выходит за всякие разумные пределы или симулируется, где царствует потлач, который отменяет какую бы то ни было потребительную стоимость. Обращенные к ней настойчивые призывы к правильному, рациональному потреблению раздаются со всех сторон (они исходят и от официальной пропаганды, и от общества потребителей, и от ассоциаций экологов и социологов), но все напрасно. Ориентируясь на стоимость/знак не задумываясь, делая на это ставку (что экономистами всегда — даже когда представление об этой стоимости как о чем-то весьма неустойчивом они пытались ввести в свои теории — рассматривалось в качестве отступления от принципов экономического разума), масса разрушает экономику, выступает против «объективного» императива потребностей и рационального контроля за намерениями и устремлениями. Если стоимость/знак противопоставляется ею потребительной стоимости, то отсюда следует, что она обесценивает уже и политическую экономию. Утверждение, будто все это в конце концов укрепляет стоимость меновую, то есть систему, не выдерживает критики. Ибо, хотя

система и сохраняет еще способность с успехом защищаться от данной игры и даже использует ее в своих интересах (ей выгодно наличие массы, потерявшей рассудок от создаваемых для кухни технических новинок и т.п.), такого рода соскальзывание, такого рода смещение, которые практикуются массами, означают, что экономическое, почти не ограниченное никакими пределами, получившее чуждую себе направленность, превратившееся в магический ритуал и театрализованное представление, доведенное массами до состояния пародии на самого себя, — это экономическое уже сейчас утратило всю свою рациональность, уже сейчас переживает свой конец. Массы (мы, вы, все) вопреки надеждам учителей, вопреки всем призывам воспитателей-социалистов сделали его асоциальным, отклоняющимся от нормы и продемонстрировали, что отныне не ориентируются ни на какую политическую экономию. Они не стали готовиться к будущим революциям и брать на вооружение теории, в соответствии с которыми они должны «освободиться» от экономического в рамках «диалектики» поступательного движения. Они знают, что ни против чего, строго говоря, не восстают, что упраздняют систему, всего лишь подталкивая

ее к функционированию по законам гиперлогики, в режиме предельной нагрузки, который ей противопоказан. Они заявляют: «Вы хотите, чтобы мы потребляли. Ну что ж, мы будем потреблять все больше и больше. Мы будем потреблять все, что угодно. Без всякой пользы и смысла».

Так же обстоит дело и с медициной: и здесь прямое сопротивление (которое, впрочем, окончательно не исчезло) было оттеснено в сторону вариантом ниспровержения более гибким — гипертрофированно, необузданно почтительным к ней отношением, панически слепым подчинением ее предписаниям. Фантастический рост потребления в секторе медицинских услуг, полностью лишающий медицину ее социального характера, — лучшего средства для ее уничтожения не придумаешь. Отныне уже и сами врачи не знают, чем они занимаются, в чем заключается их функция, поскольку масса воздействует на них в гораздо большей степени, чем они на массу. Пресса вынуждена констатировать: «Люди требуют от медицины заботы, хороших врачей, лекарств, гарантий здоровья — им всего этого мало, они хотят еще, все больше и больше, и они хотят этого без конца».

Перестают ли массы в своем отношении к меди-

цине быть массами? Отнюдь нет: они разрушают ее как социальный институт, подрывают систему социального обеспечения; требуя увеличения предоставляемых им медицинских услуг, они ставят под удар социальное как таковое. Видеть в социальном предмет индивидуального потребления, товар, цена которого зависит от колебаний спроса и предложения, — что может быть большим издевательством над этим социальным? Пародия на подчинение и вытекающий из нее парадокс: массы выходят за пределы логики социального, расшатывают всю его конструкцию именно потому, что в своих действиях следуют его законам. Разрушительная гиперсимуляция, деструктивный гиперконформизм (как и в ситуации с Бобуром, которая была проанализирована по другому поводу) приобретают черты самого решительного вызова, и в полной мере оценить его мощь, предсказать, какими последствиями для системы он обернется, сегодня не сможет никто. Существо нашей современности не заключено ни в борьбе классов, ни в неупорядоченном броуновском взаимодействии лишенных желания меньшинств — оно состоит именно в этом глухом, но неизбежном противостоянии молчаливого большинства навязываемой ему социальности,

именно в этой гиперсимуляции, усугубляющей симуляцию социального и уничтожающей его по его же собственным законам.

Масса и терроризм

Мы живем в это странное время, когда массы не соглашаются носить имя социального и тем самым отказываются и от смысла, и от свободы. Но отсюда не следует, что они включены в какую-то иную — новую и не менее славную — референцию. Ибо они не существуют. Можно лишь констатировать, что, столкнувшись с ними, начинает медленно разваливаться любая власть. Молчаливое большинство — это не сущность и не социологическая реальность, это тень, отбрасываемая властью, разверзнувшаяся перед ней бездна, поглощающая ее форма. Текучее, неустойчивое, податливое, слишком быстро уступающее любому воздействию скопление, характеризующаяся гиперреальным конформизмом, крайней степенью пассивности туманность — вот виновник сегодняшней гибели власти. Но точно так же и краха революции, потому что такого рода имплозивная масса по определению никогда не взорвется и, следовательно,

неизбежно нейтрализует любой обращенный к ней революционный призыв. Как же тогда быть с этими массами? Они являются основной темой всех дискурсов, ориентация на них стала навязчивой идеей любого социального проекта. И тем не менее всех, кто на них ставит, постигает неудача, поскольку каждый, кто это делает, масс не знает — он исходит из их классической дефиниции, которая сложилась в контексте эсхатологической надежды на социальное и его осуществление. Но массы — это не социальное, это отступление всякого социального и всякого социализма. Конечно, всегда было достаточно и теоретиков иной ориентации, с подозрением относящихся к смыслу, указывающих на тупики свободы и разоблачающих политический обман, резко критикующих рациональность и любую форму репрезентации. Массы, однако, не критикуют — смысла, политического, репрезентации, истории, идеологии они избегают, опираясь на силу сомнамбулического отказа. Они действуют — здесь и теперь они осуществляют то, что так или иначе имеет в виду и наиболее радикальная критика, которая тем не менее, не зная, как реализовать свои замыслы, упорно продолжает мечтать о будущей революции: революции кри-

тической, революции престижа, социального, желания. Но уже происходящей — инволюционной, а не активно-критической — революции она не замечает. Последняя имплозивна и не направляется никакими идеями. Она основана на инерции, а не на бодрой и радостной негативности. Она молчалива и именно инволютивна, то есть абсолютно исключает революционные речи и призывы к сознательности. У нее нет смысла. Ей нечего нам сказать.

К тому же единственный феномен, который близок массе как виновнику потрясений и смерти социального, — это терроризм. С одной стороны, масса и терроризм — непримиримые враги, и власть без труда сталкивает их друг с другом. Но с другой — есть и то, в чем они удивительным образом совпадают: отрицает социальное и отказывается от смысла не только масса — это характерно и для терроризма. Терроризм полагает, что он выступает против капитала (мирового империализма и т.п.), но он ошибается — на деле он противодействует социальному, которое и является его настоящим противником. Современный терроризм держит под прицелом социальное в ответ на терроризм социального. И он держит под прицелом именно современное социальное:

переплетение сфер, связей, центров и структур, сеть контроля и блокировки — все то, что окружает нас со всех сторон и благодаря чему мы, все мы, оказываемся молчаливым большинством. Перед ним новая — гиперреальная, неуловимая, опирающаяся уже не на закон, репрессии и насилие, а на внедрение моделей и на убеждение/разубеждение — социальность, и он отвечает на ее вызов не чем иным, как гиперреальным же действием — действием, которое с самого начала погружено в расходящиеся в разных направлениях волны средств массовой информации и гипноза, которое развертывается не в области репрезентации и сознания, рефлексии и логики причинно-следственной зависимости, а там, где заявляет о себе мышление, черпающее свою силу в механизмах совместных положительных или отрицательных переживаний, в механизмах цепной реакции передачи настроения. Терроризм столь же лишен смысла и столь же неопределенен, как и система, с которой он борется и в которую, по сути дела, включен в качестве средоточия максимальной и одновременно исчезающе малой имплозии. Терроризм — это не вспышка исторической и политической критики, он по-настоящему имплозивен, и он вызывает оцепенение, ошелом-

ляет, а потому внутренне связан с молчанием и пассивностью масс.

Терроризм направлен не на то, чтобы заставить говорить, воодушевить или мобилизовать, — он не приводит к революции (в этом плане он, пожалуй, абсолютно контрпродуктивен; но, вменяя ему в вину вред, который он наносит революционному движению, надо учитывать, что он и не стремится быть революционером). Он ориентирован на массы именно в их молчании, массы, загипнотизированные информацией. Он концентрирует свое внимание исключительно на современном социальном, на этой постоянно влияющей на нас белой магии информации, симулирования, разубеждения, анонимного и произвольного управления, на этой магии абстракции — магии, которую он максимально активизирует и которую, таким образом, подталкивает к смерти, используя магию иную, черную, магию абстракции еще более сильной, более анонимной и более произвольной — магию террористического акта.

Террористический акт единственный не является актом репрезентации. Этим он сближается с массой, выступающей единственной реальностью, которая не может иметь представления.

Отсюда следует, что терроризм вовсе не представляет невысказанное массами и никоим образом не служит активным выражением их пассивного сопротивления. Между терроризмом и поведением массы существует отношение не представляющего и представляемого, а эквивалентности: оба не направляются никакой идеей, оба не принадлежат никакой репрезентативности, оба не имеют никакого смысла. Их объединяет самое радикальное, самое решительное отрицание любой репрезентативной системы. И это на сегодняшний день, в сущности, все, что мы в состоянии сказать о связях, которые могут устанавливаться между двумя элементами, находящимися вне области репрезентации. Разобраться в данном вопросе нам не позволяет базовая схема нашего познания — ею всегда полагается среда субъекта и языка, среда представления. И потому нам открыты лишь сцепления репрезентации; что же касается соединений, основанных на аналогии или родстве, соединений непосредственных или нереференциальных, что касается всех других структур, то мы их практически не знаем. Безусловно, массы и терроризм связывает что-то весьма важное, то, что было бы бесполезно искать у исторически предшествующих им репрезента-

тивных систем (народ/национальное собрание, пролетариат/партия, меньшинства маргиналов/представляющие их группы и группки…). И так же, как между полюсами какой-нибудь репрезентативной системы циркулирует энергия социальная, энергия позитивная, точно так же, по-видимому, циркулирует энергия и между массой и терроризмом, между этими не-полюсами системы не-репрезентации, но это энергия противоположного характера, энергия не социальной аккумуляции и трансформации, а социальной дисперсии, рассеивания социального, энергия поглощения и уничтожения политики.

Утверждать, что «эпоха молчаливого большинства» «порождает» терроризм, — значит допускать ошибку. На самом же деле масса и терроризм хотя и непонятным для нас образом, но именно сосуществуют. И такого рода их синхронное функционирование, каким бы ни было к нему отношение, — единственное, что по-настоящему знаменует собой конец политического и социального. Единственное, что характеризует этот период неудержимой имплозии всех систем репрезентации.

Задача терроризма заключается вовсе не в том, чтобы продемонстрировать репрессивный

характер государства (на это ориентирована провокационная негативность групп и группок, которые цепляются за нее как за последнюю возможность выступить перед массами в качестве их представителей). Будучи нерепрезентативным, он делает очевидной — запуская механизм цепной реакции ее распространения, а не указывая на нее и не пытаясь подтолкнуть к ее осознанию — нерепрезентативность любой власти. Именно такова его подрывная работа: он утверждает нерепрезентацию, внедряя ее крайне малыми, но весьма концентрированными дозами.

Характерная для него жестокость объясняется тем, что он отрицает все репрезентативные институции (профсоюзы, организованные движения, сознательную «политическую» борьбу и т.п.), включая и те, от которых исходят заверения в солидарности с его усилиями, ибо солидарность — это всего лишь один из способов конституировать его как модель, как эмблему и, следовательно, заставить быть представителем. (О погибших участниках акции в таких случаях говорят: «Они умерли за нас, их смерть не напрасна…».) Для того чтобы преодолеть какие бы то ни было смыслы, для того чтобы создать ситуацию, когда невозможно осознать, насколько

он социально нелегитимен, в какой мере он не ведет ни к каким политическим результатам и не вписан ни в какую историю, терроризм использует любые средства. Его единственное «отражение» — вовсе не цепь вызванных им исторических следствий, а рассказ, шокирующее сообщение о нем в средствах информации. Однако этот рассказ принадлежит порядку объективности и информативности не больше, чем терроризм — порядку политического. И тот, и другой находятся за пределами и смысла, и репрезентации — в сфере, которая является если не областью мифа, то, во всяком случае, областью симулякра.

Другой аспект террористического насилия — отрицание всякой детерминации и всякого качества. В этом плане терроризм надо отличать от бандитизма и акций «коммандос». Отряд «коммандос» осуществляет военные операции против определенного противника (они могут выражаться в подрыве железнодорожного состава, внезапном нападении на вражеский штаб и т.д.). Бандитизм (налет на банк, лишение свободы в расчете на получение выкупа и т.п.) является разновидностью традиционного уголовного насилия. Все эти действия имеют цель экономи-

ческую или военную. Современный терроризм, начало которому положили захваты заложников и игра с откладыванием-отсрочиванием смерти, уже не имеет ни цели (если все же допустить, что он ориентирован какими-то целями, то они либо совсем незначительны, либо недостижимы — во всяком случае, он является самым неэффективным средством их достижения), ни конкретного врага. Можно ли сказать, что захватом заложников палестинцы борются с государством Израиль? Нет, их действительный противник находится за его спиной. Пожалуй, он не принадлежит даже и области мифа, ибо выступает как нечто анонимное, недифференцированное, как некий мировой социальный порядок. Палестинцы обнаруживают этого врага где угодно, когда угодно, для них его олицетворением могут выступать любые, даже самые невинные, люди. Именно так заявляет о себе терроризм; и он остается самим собой, сохраняет себя только потому, что действует везде, всегда и против всех — иначе он был бы лишь вымогательством или акцией «коммандос». Характер функционирования этой слепой силы находится в полном соответствии с абсолютной недифференцированностью системы, в которой уже давно не существует различия

между целями и средствами, палачами и жертвами. Своими действиями, выражающими его убийственное безразличие к тому, кто окажется у него в заложниках, терроризм направлен как раз против самого главного продукта всей системы — анонимного и совершенно безликого индивида, индивида, ничем не отличающегося от себе подобных. Невиновные расплачиваются за преступление, состоящее в том, что они теперь никто, что у них нет собственной судьбы, что они лишены своего имени, лишены системой, которая сама анонимна и которую они, таким образом, символизируют, — вот парадокс нынешней ситуации. Они являются конечным продуктом социального, абстрактной и ставшей сегодня всемирной социальности. И именно потому, что они теперь — это «кто угодно», им и суждено быть жертвами терроризма.

Как раз в этом смысле, или, лучше сказать, в этом своем вызове смыслу, террористический акт сближается с катастрофами, происходящими в природе. Никакой разницы между подземным толчком в Гватемале и угоном «Боинга» Люфтганзы с тремястами пассажирами на борту, между «естественным» действием природы и «человеческим» действием терроризма не существует.

Террористами являются и природа, и внезапный отказ любой технологической системы: крупные сбои в системах подачи электроэнергии в Нью-Йорке (в 1965 и 1977 годах) создали ситуации значительно более серьезные, чем те, к которым приводили все до сих пор осуществлявшиеся спланированные террористические акты. Более того, эти крупные аварии технологического плана, как и катаклизмы природного характера, демонстрируют возможность радикальной подрывной работы без субъекта. Сбой 1977 года в Нью-Йорке мог бы быть устроен и хорошо организованной группой террористов, но результат оказался бы тем же самым. Последовали бы те же акты насилия и грабежи, точно так же стало бы нарастать возмущение происходящим, и точно таким же мучительным было бы ожидание того, когда же наконец установится «социальный» порядок. Отсюда следует, что терроризм порожден не стремлением к насилию, а характерен для нормального состояния социального — в той мере, в какой это нормальное состояние в любой момент может превратиться в нечто прямо противоположное, абсурдное, неконтролируемое. Природная катастрофа способствует такому повороту событий и именно поэтому парадоксальным

образом становится мифическим выражением катастрофы социального. Или, точнее, природная катастрофа, будучи в высшей степени бессмысленным и нерепрезентативным событием (разве что за ним стоит Бог; не случайно в ситуации с последней аварией в электросетях Нью-Йорка ответственный работник «Continental Edison» заговорил о Боге и его вмешательстве), становится своего рода симптомом или наиболее ярким олицетворением особого состояния социального, а именно его катастрофы и крушения всех репрезентаций, на которые социальное опиралось.

Системы имплозивные и взрывные

Треугольник «массы — средства массовой информации — терроризм» указывает на пространство, в котором развертывается характерный для современности процесс имплозии. Этот процесс пронизан нарастающим насилием — насилием рассеянным и концентрированным, насилием вовлечения и гипноза, насилием пустоты (гипнотическое воздействие есть предельная агрессивность нейтрального). В своем нынешнем состоянии мы имеем дело только с такой — неистовой и катастрофической — имплозией.

Сегодня она не может быть иной, потому что выступает завершающим периодом крушения — последним этапом гибели системы взрыва и контролируемого расширения, господствовавшей на Западе на протяжении нескольких веков.

Тем не менее имплозия отнюдь не обязательно развертывается как катастрофа. Она существует и в контролируемой и направляемой форме. В этом своем качестве она обнаруживает себя прежде всего в примитивных и традиционных обществах и, более того, оказывается их скрытой главной особенностью. Такого рода обществам не свойственна экспансия — в них царствует не центробежная, а центростремительная сила. Такого рода сингулярные множества никогда не нацелены на универсальное — они сконцентрированы на цикле, на ритуале, они стремятся замкнуться в этом нерепрезентативном процессе, где нет ни высшей инстанции, ни дизъюнктивной полярности, но где отсутствует также и опасность их саморазрушения (сказанное, возможно, не относится к столь необычной имплозии, как коллапс культур тольтеков, ольмеков и майя — культур, о которых мы вряд ли что-либо еще узнаем и об огромных империях которых мы

можем сказать лишь то, что они исчезли без каких-либо более или менее заметных следов катастрофы, без видимой внешней или внутренней причины, как будто внезапно утратив все стимулы к существованию). Примитивные общества живут, следовательно, благодаря контролируемой имплозии; но если они ей уже не управляют, их ждет смерть. Это значит, что теперь они оказались во власти взрыва (то есть стали рабами неконтролируемого увеличения населения или столь же неуправляемого роста объема произведенной продукции, пленниками безудержного расширения в пространстве или же просто-напросто объектами колонизации, насильно приобщающей их к принципам развития и ориентации вовне, в соответствии с которыми существуют западные системы).

Наши «современные» цивилизации, напротив, на всех уровнях строятся на основе экспансии взрывных процессов — под знаком универсализации рынка, экономических и философских ценностей, под флагом универсальности закона и такой же универсальности стратегии завоевания. Они, без всякого сомнения, оказались способными, по крайней мере до сегодняшнего дня, существовать за счет контролируемого взры-

ва, регулируемого поэтапного высвобождения энергии, и этим определяется золотой век их культуры. Однако сегодня их взрывное развитие осуществляется такими немыслимыми темпами, что контроль за ним становится невозможным. Этот взрывной процесс достиг предельной скорости и предельного размаха и начал выходить за рамки сферы универсального — ему уже тесно в той области, которая является областью экспансии. И так же, как примитивные общества были разрушены динамикой взрыва, так и не сумев на определенном этапе удержать под контролем процесс имплозии, — точно так же и наша культура начинает разрушаться имплозией, поскольку не имеет средств справиться с взрывной динамикой.

Имплозия неизбежна, и все усилия по спасению систем экспансии, существующих в соответствии с принципами реальности, аккумуляции и универсальности, в соответствии с принципами эволюции, не могут не быть напрасными. Они продиктованы исключительно ностальгией по тому, что уходит. Но к их числу надо отнести и усилия тех, кто настаивает на необходимости высвобождения разного рода особых энергий: либидинальных, множественных, энергии фраг-

ментарных интенсивностей и т.д. Дело в том, что «высвобождение энергий» («пролиферация сегментов» и т.п.), которое имеет место в ходе так называемой «революции на молекулярном уровне», происходит все еще в границах хотя и сжимающегося, но по-прежнему заявляющего о себе поля экспансии, лежащего в основании нашей культуры. Ничтожная по силе активность, исходящая от желания, — всего лишь продолжение мощных попыток утверждения реальности, предпринятых капиталом, распад на молекулярные образования — всего лишь логическое завершение тотального усилия по поддержанию различных пространств социального. Мы являемся свидетелями угасания системы взрыва с ее отчаянным стремлением овладеть энергией, дошедшей до своего предела, или, что то же самое, раздвинуть пределы этой энергии (определяющий ориентир нашей культуры), с тем чтобы спасти экспансию и движение к освобождению.

Но имплозию не остановит ничто. Победа имплозивного над взрывным предрешена, и вопрос лишь в том, за каким — жестким и катастрофическим или мягким и замедленным — имплозивным процессом будущее. Последний пытается подчинить себе новые антиуниверсалистские,

антирепрезентистские, трайбалистские и т.п. центробежные силы, действие которых обнаруживается в возникновении разного рода общин, в обращении к наркотикам, в выступлениях против загрязнения среды и дальнейшего роста промышленного производства. Но мягкую имплозию надо оценивать трезво. Скорее всего, она недолговечна и закончится безрезультатно. Превращение систем имплозивных в системы взрывные нигде не было безболезненным — оно всегда сопровождалось большими потрясениями; жестким и катастрофическим будет, по всей видимости, и наш переход к имплозии.

Конец социального

Динамика социального не является ясной и определенной. Чем характеризуются современные общества — его нарастанием или распадом? Иначе говоря, им свойственны социализация или последовательная десоциализация? Ответ зависит от того, как понимается социальность, но он в любом случае не может быть окончательным и однозначным. Скорее всего, социальное обладает такими характеристиками, которые выступают вехами «социального прогресса» (урбанизация,

концентрация, производство, труд, медицина, обучение в школе, социальное обеспечение, страхование и т.д.), включая сюда и капитал, являющийся, пожалуй, самым эффективным проводником социализации, оно в одно и то же время и создается, и разрушается.

Поскольку социальное, по-видимому, сложено из абстрактных инстанций, возникающих одна за другой на развалинах предшествующих символических и ритуальных обществ, эти институции его — шаг за шагом — производят. Но они работают именно на нее — ненасытную абстракцию, питающуюся, возможно, «самой сутью» социального. И в этом плане по мере развития своих институций социальное не укрепляется, а регрессирует.

Данный противоречивый процесс ускоряется и достигает своего максимального размаха с появлением средств массовой информации и самой информации. Средства информации, все средства, и информация, вся информация, действуют на двух уровнях: внешний — уровень наращивания производства социального, глубинный — тот, где и социальные отношения, и социальное как таковое нейтрализуются.

Но тогда, если социальное, во-первых, разру-

шается — тем, что его производит (средствами информации и информацией), а во-вторых, поглощается — тем, что оно производит (массами), оказывается, что его дефиниция не имеет референта, и термин «социальное», который является центральным для всех дискурсов, уже ничего не описывает и ничего не обозначает. В нем не только нет необходимости, он не только бесполезен, но всякий раз, когда к нему прибегают, он не дает возможности увидеть нечто иное, не социальное — вызов, смерть, совращение, ритуал или повторение, — он скрывает то, что за ним стоит всего лишь абстракция, результат процесса абстрагирования, или даже просто эффект социального, симуляция и видимость.

Неопределенность заложена уже в термине «социальное отношение». Что такое «социальное отношение», «социальная связь»? Что такое «производство социальных связей»? Понятным содержание этих выражений оказывается лишь на первый взгляд. Является ли социальное изначально и по своей сути «отношением» (или «связью»), что неизбежно предполагает высотою степень его абстрактности и рациональности, или же оно есть нечто иное — то, что извне рационализируется термином «отношение»? А может

быть, «социальное отношение» отнесено к чему-то другому, а именно к тому, что оно разрушает? Может быть, оно отмечает конец социального или кладет начало его концу?

Так называемые «социальные науки» были призваны закрепить впечатление, что социальность вечна. Но сегодня от него надо освободиться. Существовали общества, которые обходились без социального, как они обходились и без истории. Ни термин «отношение», ни термин «социальное» к характерным для этих образований символическим структурам взаимных обязательств неприложимы. С другой стороны, социального, по всей видимости, не будет и в наших «обществах» — они хоронят его тем, что оно в них симулируется. И поскольку видов смерти у него столько же, сколько определений, умирать ему суждено по-разному. Социальное, судя по всему, в состоянии существовать лишь очень короткое время: в узком промежутке между эпохой символических формаций и возникновением нашего «общества», где оно уже не живет, а только угасает. Раньше — его нет еще, позже — его нет уже. Но «социология», кажется, будет доказывать его вечность и после его смерти — в пустых разговорах представителей «социальных наук» ему

уготована жизнь и после того, как оно исчезнет.

На протяжении двух столетий неиссякаемыми источниками энергии социального были детерриториализация и концентрация, обнаруживающие себя во все большей унификации инстанций. Эта унификация происходит в централизованном пространстве перспективы, которое придает смысл всем оказавшимся в нем элементам благодаря тому, что просто ориентирует их на схождение в бесконечности (в качестве пространства и времени социальное действительно делает перспективу бесконечной). Социальность оформляется только в этой всеохватывающей перспективе.

Но не будем забывать: такого рода перспективное пространство (как в живописи и архитектуре, так и в политике или экономике) является лишь одной из моделей симуляции, для которой характерно то, что она дает место эффектам истины и объективности, невозможным, немыслимым в других моделях. А что, если она представляет из себя просто ловушку? В таком случае все, что было задумано и осуществлено в этом социальном «сценическом действии по-итальянски», никогда не имело существенного значения. В своей основе вещи никогда не функционировали социально

— они приходили лишь в символическое, магическое, иррациональное и т.п. движения. Отсюда и следует, что капитал есть вызов обществу. Иначе говоря, эта машина всеохватывающей перспективы, эта машина истины, рациональности и продуктивности, какой является капитал, чужда и объективной целесообразности, и разуму: она есть прежде всего насилие, насилие, состоящее в том, что социальное направляется против социального. Но по своей сути данная машина не является социальной — ей нет дела до капитала и социального в их антагонистическом единстве. Она не подразумевает контракт, она никогда не предполагает договор, заключенный между различными инстанциями по закону (все это для нее пустое) — она ориентирована на ставку, на вызов, то есть на что-то, что не проходит по линии «социальной связи». (Вызов находится вне диалектики и вне взаимного противостояния полюсов в рамках какой-либо целостной структуры. Он есть процесс уничтожения всех противостоящих элементов, всех противодействующих субъектов, и в первую очередь тех, кто бросает вызов: тем самым он уходит от любого контракта, который мог бы дать место «отношению». Логика обмена ценностями теперь не действует. В силу вступа-

ет логика отказа от ценности и смысла. Герой вызова неизменно занимает позицию самоубийцы, но его самоубийство триумфально: именно разрушая ценность (свою ценность), именно уничтожая смысл (свой смысл), он вынуждает другого реагировать всякий раз неадекватно, всякий раз чрезмерно. Вызов всегда исходит оттого, что не имеет ни смысла, ни имени, ни идентичности, и он всегда брошен тому, что за них держится, — это вызов смыслу, власти, истине, самой их способности существовать, самому их стремлению к существованию. Только такого рода обращение силы назад и способно положить конец власти, смыслу и ценности; надеяться на какое-то соотношение сил, каким бы благоприятным оно ни было, бесполезно: оно предполагает полярную, бинарную структурную связь, которая по самой своей природе всегда формирует пространство смысла и власти).

Относительно социального возможно несколько гипотез.

1. Социальное, по сути дела, никогда не существовало. Социального «отношения» никогда не было. Ничто никогда не функционировало социально. В условиях неизбежного вызова, неотвратимого совращения и неминуемой

смерти всегда имела место лишь симуляция социального и социального отношения. В этом случае нет никаких оснований говорить ни о «реальной», ни о скрытой, ни об идеальной социальности. Оправдано лишь гипостазирование симулякра. Если социальное есть симуляция, то единственное вероятное резкое изменение ситуации — это стремительная десимуляция, при которой социальное само для себя перестает быть пространством референции, выходит из игры и кладет конец сразу и власти, и эффекту социального, и зеркалу социального, социальное поддерживающему. Десимуляция сама приобретает характер вызова (обратного вызову капитала социальному и обществу): вызова способности капитала и власти существовать в соответствии с их собственной логикой — у них ее нет, в качестве механизмов они исчезают сразу же, как только разрушается симуляция социального пространства. И сегодня это резкое изменение ситуации происходит. Разложение социального мышления, истощение и вырождение социальности, угасание социального симулякра (настоящий вызов конструктивности и продуктивности имеющей для нас решающее значение социальной теории) — всему этому мы являемся свидетелями.

Социальное исчезает бесследно, как будто его и не было. И не в процессе эволюции или революции, а в результате катастрофы. Это уже не «кризис» социального — это распад самого его устройства. Маргиналы (умалишенные, женщины, наркоманы, преступники), которые якобы разрушают социальное, здесь ни при чем — их активность, наоборот, служит для слабеющей социальности источником дополнительной энергии. Но ресоциализация невозможна. И социальное, существующее в соответствии с принципами реальности и рациональности, улетучивается, подобно тому как, едва заслышав первый крик петуха, улетучивается призрак.

2. Социальность все же существовала и существует, более того, она постоянно нарастает. Она пронизывает все — есть только социальность. Социальное вовсе не исчезает, а, напротив, торжествует и заявляет о себе повсюду. Можно, однако, предположить — вопреки мнению, будто динамика социального развертывается в закономерный прогресс человечества, а все ее избежавшее представляет собой лишь остаток, — что как раз само социальное и является остатком и что оно торжествует именно в этом качестве. Заполнивший собой все, ставший универсаль-

ным и получивший статус реальности остаток рассеивания символического порядка — это и есть социальное. Перед нами уже более изысканная форма смерти. В данном случае сегодняшняя ситуация такова, что мы все дальше погружаемся в социальное, то есть в сферу чистых отложений, в пространство, заполненное мертвым трудом, мертвыми, контролируемыми бюрократией связями, мертвыми языками и синтагмами (что-то мертвое, что-то от смерти есть уже в самих терминах «отношение» и «связь»).

Безусловно, теперь нельзя говорить, что социальное умирает — отныне оно есть аккумуляция смерти. Мы действительно принадлежим цивилизации сверхсоциальности и в то же время неисчезающего и неуничтожимого остатка, захватывающего все новые территории, по мере того как социальное расширяется.

Образование остатка и его новое использование — таковы, по-видимому, основные моменты социального как производства. Его циклы уже давно не имеют никаких «социальных» ориентиров, так что оно представляет собой абсолютно самостоятельную, вращающуюся исключительно вокруг собственной оси спиралевидную туманность, расширяющуюся с каждым витком,

который она описывает. Таким образом, усиление социального в ходе истории — это, очевидно, усиление «рационального» управления остатками и вскоре рост рационального производства остатков.

В 1544 году в Париже открывается первый крупный приют для бедных, который берет на себя ответственность за бродяг, сумасшедших, других больных — всех тех, кто не был интегрирован в ту или иную группу и оказался вне ее в качестве остатка. Это свидетельство рождения социального. Позднее появятся знаки его расширения: органы государственного призрения в девятнадцатом и система социального обеспечения в двадцатом веках. По мере быстрого упрочения социального остатком становятся целые общности, а стало быть, — на следующем витке спирали — и упрочившееся социальное. Когда остаток достигает масштабов общества в целом, мы получаем полную социализацию. Полностью исключены и полностью взяты на иждивение, полностью разобщены и полностью социализированы абсолютно все.

В итоге символическая интеграция заменяется функциональной, и функциональные институции берут на себя ответственность за остатки

символической дезинтеграции — социальная инстанция обнаруживается там, где для нее не было ни места, ни даже имени. По мере усиления такой дезинтеграции множатся, распространяются и развиваются «социальные отношения». Появляются социальные науки. Отсюда и любопытное выражение «ответственность общества перед своими обездоленными членами» — тот, кто к нему прибегает, исходит из представления, что «социальное» есть не что иное, как инстанция, выступающая следствием этой обездоленности.

Отсюда также и направленность рубрики «Общество» в «Монд»: материалы, помещаемые в ней, как это ни удивительно, посвящены только иммигрантам, преступникам, женщинам и т. д. — всему несоциализированному, «случаю» социального, сходному со случаем патологии. Речь идет о зонах, которые должны быть втянуты в социальность, о сегментах, которые были выведены за ее пределы в ходе ее развертывания. Обозначаемые социальным как остаточные, они подпадают тем самым под его юрисдикцию и рано или поздно обретут свое место в расширенной социальности. Именно к остатку приковано внимание социальной машины, и именно поглощение этого остатка дает социальности энергию

для нового расширения. Но что происходит, когда социализировано все? Тогда машина останавливается, динамика всего процесса меняется на противоположную, и в остаток превращается вся ставшая целостной социальная система. По мере того как социальное в своем прогрессировании поглощает все остатки, оно само оказывается остаточным. А помещая в раздел «Общество» материалы об остаточности, оно к тому же и именует себя остатком.

Однако чем становятся рациональность социального, контракт и социальное отношение, если последнее, вместо того чтобы выступать исходной структурой, заявляет о себе как об остатке и управлении остатками? Если социальное есть всего лишь остаток, оно уже не является местом процесса развития или позитивной истории, оно оказывается теперь только пространством нагромождений и расчетливого руководства, осуществляемого смертью. Оно больше не имеет смысла, поскольку смысл дан другому, а у социального не может быть шансов стать другим: оно представляет собой отбросы. У него нет никакой светлой перспективы, ибо остаток — это превзойденное небытие, это то, что из праха уже не восстанет. И потому политика социального

— это политика мертвеца. Социальному свойственно либо заточать, либо вытеснять. Сначала, выступая под знаком продуктивного разума, оно оказалось местом великого Заключения, теперь, когда его знаком стали симуляция и разубеждение, оно превратилось в пространство не менее великого Исключения. Впрочем, это, возможно, уже и не «социальное» пространство.

Именно в этом плане руководства остатками социальное и может в настоящее время обнаруживаться как таковое: в формах права, потребности, обслуживания, простой потребительной стоимости. И сегодня оно характеризуется уже не столько структурами конфликта и политики, сколько структурой приема. Над экономической сферой социального как потребительной стоимости надстраивается его экологическая сфера как ниши. Оно начинает играть роль одной из форм эквивалентного обмена индивида со средой, выступать в качестве экосистемы, гомеостаза, функциональной супербиологии человеческого рода. Это даже больше, чем структура, — это безликая питательная белковая субстанция. Оно образует некую зону безопасности, где можно укрыться от всех трудностей и обрести беззаботное существование (своего рода страхование с

ответственностью за все риски взамен прежней жизни). Форма деградирующей социальности (снимающей напряженность, предохраняющей, успокаивающей и снисходительной), форма предельно низкого уровня социальной энергетики (энергетики экологического функционирования), форма энтропии — именно в таком виде предстает перед нами социальное. Это уже другой облик смерти.

Экскурс: функциональная калькуляция остатка

Социальное занято тем, что устраняет всякий прирост богатства. Если бы дополнительное богатство было пущено в процесс перераспределения, это неизбежно разрушило бы социальный порядок и создало недопустимую ситуацию утопии.

То перемещение богатства, любого богатства, которое осуществлялось когда-то посредством жертвоприношения и которое не оставляет место аккумуляции остатка, для наших обществ также неприемлемо. Уже потому, что они «общества», а следовательно, всегда производят излишек, остаток (каким бы он ни был — демографическим,

экономическим или лингвистическим), и потому, что этот остаток должен быть ликвидирован (ни в коем случае не принесен в жертву — это опасно: просто-напросто ликвидирован).

У социального две обязанности: производить остаток и тут же его уничтожать.

Если бы все богатство приносилось в жертву, люди утратили бы чувство реальности. Если бы все богатство оказывалось в их распоряжении, они перестали бы отличать полезное от бесполезного. Социальное призвано следить за бесполезным потреблением остатка, с тем чтобы индивиды были готовы к полезной для них организации их жизни.

Использование и потребительная стоимость конституируют некую фундаментальную мораль. Но она существует только в симуляции нищеты и расчета. Если бы все богатство было перераспределено, оно уничтожило бы собой потребительную стоимость (то же самое со смертью: если бы смерть была перераспределена, если бы она была обращаема, уничтожению подверглась бы потребительная стоимость жизни). Сразу же и со всей очевидностью стало бы ясно, что потребительная стоимость есть всего лишь основанная на меркантильной приземленности,

предполагающая постоянный прагматический расчет моральная конвенция. Но она держит нас в своей власти, и потому вынести эту катастрофу перемещения богатств и перемещения смерти мы, чье сознание навсегда отравлено фантазмом потребительной стоимости, были бы не в состоянии. Нельзя, чтобы все обращалось. Необходим остаток. И социальное следит за тем, чтобы он был.

До сих пор автомобиль, дом и другие «полезные вещи» так или иначе, но все же с успехом поглощали материальные и духовные запасы индивидов. Однако предположим, что теперь между индивидами распределили все находящееся в распоряжении общества свободное богатство. Если бы это случилось, они бы в нем просто-напросто утонули. Они потеряли бы ориентацию и чувство умеренности и бережливости, утратили потребность просчитывать свои действия. Они столкнулись бы или с разбалансированными отношениями стоимости (внезапный приток валюты стремительно и до основания разрушил бы денежную систему), или же с патологическим развитием потребительной стоимости (каждый имел бы 3, 4 и т.д. автомобилей), которая в этом обществе изобилия, однако, неизбежно раствори-

лась бы в гиперреальном функционализме.

Таково свойство любого излишка: перемещаемый без всяких ограничений, он разрушает систему эквивалентности, а заодно и систему нашей духовной ориентации на эквивалентность.

Противостоять этому может только мудрость социального — стоящей на страже эквивалентного матрицы расширения и обращения богатств, среды их контролируемого расточения.

Общество, неспособное к тотальному перемещению богатства и ориентированное на потребительную стоимость, всегда опирается на своего рода ум и дальновидность института социальности и его абсурдную «объективную» расточительность. Действия, направленные на поддержание престижа страны, строительство «Конкордов», полеты на Луну, запуски баллистических ракет и спутников, даже организация общественных работ и социального обеспечения, безусловно, свидетельствуют о бессмысленных тратах. Но ум социального — это и есть глупость в пределах потребительной стоимости. Наивно не социальное — наивны разного рода социалисты и гуманисты, мечтающие о перераспределении всего богатства, исключении любых бесполезных расходов и т. п. Социалисты,

борцы за потребительную стоимость, борцы за потребительную стоимость социального, демонстрируют, что социальность ими абсолютно не понята — они полагают, будто социальное может стать оптимальным коллективным управлением потребительной стоимостью людей и вещей.

Но оно никогда им не будет. Оно, вопреки надеждам социалистов, бессмысленно, неуправляемо, оно есть безответственно расходующий, разрушающий, огромный по своим размерам протуберанец оптимального управления. Однако именно поэтому оно и является функциональным, именно поэтому (что так и не усвоили идеалисты) оно в точности соответствует своему предназначению, которое состоит в том, чтобы, осуществив объективно неизбежный обходной маневр, то есть используя расточительство, а «contrario» укрепить потребительную стоимость и сохранить основание реальности. Социальное создает ту нехватку богатства, которая необходима для различения добра и зла, в которой нуждается любая мораль, — нехватку, абсолютно неизвестную «первым обществам изобилия», описанным Маршаллом Салинзом. Это то, чего не видят социалисты: желая уничтожить недостаток благ и требуя всеобщего права пользования

богатством, они тем самым устраняют социальность, хотя им кажется, что они настаивают на ее развитии.

Вопрос о смерти социального в этом плане решается просто: социальное умирает в результате распространения потребительной стоимости, которое равнозначно ее ликвидации. Когда все, включая социальное, становится потребительной стоимостью, мир оказывается инертным, и в нем происходит нечто прямо противоположное тому, о чем мечтал Маркс. Он мечтал о поглощении экономического улучшенным социальным. Мы же имеем дело с поглощением социального ухудшенной политической экономией — простонапросто управлением.

Общество спасается именно дурным использованием богатств: со времен Мандевиля и его «Басни о пчелах» все осталось по-прежнему. И социализм тут не может ничего изменить. Политическая экономия была призвана устранить эту двойственность, эту далее нетерпимую для нее противоречивость социальной динамики. Но сложная функциональность социального, своего рода функциональность во второй степени, оказалась ей не по силам. И тем не менее эта экономия сегодня, кажется, торжествует: после того

как политическое исчезло, растворилось в социальном, само социальное начинает поглощаться экономическим — экономией даже еще более политической, чем ей полагалось быть, лишенной «ubris», излишества и излишка, которыми характеризовалась капиталистическая фаза.

Конец социального (продолжение)

3. Социальное, безусловно, существовало, но сейчас его больше нет. Оно существовало как связное пространство, как основание реальности. Социальное отношение, производство социальных отношений, социальное как динамическая абстракция, место конфликтов и противоречий истории, социальное как структура и как ставка, как стратегия и как идеал — все это имело смысл, все это что-то значило. Социальное никогда не было ни ловушкой, как в случае с первой гипотезой, ни остатком — как в случае со второй. Но вместе с тем в качестве власти, в качестве труда, в качестве капитала оно имело смысл только в пространстве перспективы рационального размещения, в пространстве, ориентированном на некую идеальную точку схождения всех линий, которое является также и пространством

производства. Оно, короче говоря, имело смысл исключительно в пределах симулякров второго порядка. Сегодня оно поглощается симулякрами третьего порядка и потому умирает.

Перспективному пространству социального приходит конец. Рациональная социальность договора, социальность диалектическая (распространяющаяся на государство и гражданское общество, публичное и частное, социальное и индивидуальное) уступает место социальности контакта, множества временных связей, в которые вступают миллионы молекулярных образований и частиц, удерживаемых вместе зоной неустойчивой гравитации и намагничиваемых и электризуемых пронизывающим их непрекращающимся движением. Но можно ли в данном случае по-прежнему говорить о социуме? В Лос-Анджелесе никакой социальности уже нет. И ее тем более не будут знать следующие поколения (в Лос-Анджелесе пока что живет поколение телевидения, кино, телефона и автомобиля) — поколения рассеивания, распределения индивидов как пунктов получения и передачи информации в пространстве даже еще более размеренном, чем конвергентное: пространстве связи, соединения. Социальное существует только в пространстве

перспективы — в пространстве симуляции, которое является также и пространством разубеждения, оно умирает.

Пространство симуляции — это место смешения реального и модели. Реальное и рациональное для того, кто находится внутри данной сферы, неразличимы ни практически, ни теоретически. Строго говоря, тут нет даже и вхождения моделей в реальность (это была бы ситуация замены территории картой, представленная Борхесом) — есть мгновенное, осуществляющееся здесь и теперь преображение реального в модель. Происходит невероятное: реальное оказывается гиперреализованным — не реализованным, не идеализированным, а именно гиперреализованным. Гиперреализация означает его упразднение, но это упразднение не является грубой деструкцией. Оно выступает возведением реального в ранг модели. Модель упреждает, разубеждает, предусмотрительно преображает — и тем самым всегда поглощает реальность.

Догадаться об этой тонкой, быстрой и незаметной работе модели можно лишь тогда, когда реальное начинает заявлять о себе как о чем-то более истинном, чем истина, как о чем-то слишком реальном, чтобы быть истинным. Сегодня

на производство такого рода реальности, такого рода сверхреальности ориентированы все mass media и информация (вспомним многообразные интервью, прямой эфир, кино, документальное телевидение и т.п.). Они производят ее настолько много, что мы оказываемся окруженными непристойностью и порнографией. Наезд камеры на объект, по сути дела порносъемка, делает для нас реальным то, что реальностью никогда не было, что всегда имело смысл только на некотором расстоянии. Гиперреальность — это разубеждение в возможности хоть какой-то реальности. Разубеждение, которое подавляет реальность тем, что заставляет ее постоянно разрастаться, становиться гиперочевидной и, однако, навязывать себя снова и снова. Оно делает ее предельно насыщенной и толкает к непристойности, оно упраздняет всякое различие между ней и ее репрезентацией, оно, наконец, доводит ситуацию до имплозии полюсов, между которыми циркулирует энергия реального. Реального как системы координат больше нет, оно живет жизнью модели.

Но тем самым гиперреальность устраняет и социальное. Социальное, если оно имеет место как симулякр второго порядка, в симулякрах третьего порядка производиться уже не может:

подвергнутое усиленной, предельной, делающей его непристойным инсценировке, оно сразу же оказывается в невыносимом для себя положении. Признаки этой гиперреализации социального, свидетельства его чрезмерной интенсификации и предвестники завершения присутствуют повсюду: и тут, и там подчеркивают, обозначают и используют прозрачность социального отношения. История социального никогда не приведет к революции — она навсегда остановлена знаками социального и революции. Социальное никогда не подойдет к социализму — оно наткнулось на непреодолимую для себя преграду в лице гиперсоциального, гиперреальности социального (но, может быть, это и есть социализм?). Понятие пролетариата заменяется каким-то пародийным экстенсивным дубликатом, «массой трудящихся» или просто ретроспективной симуляцией пролетариата, и пролетариату уже не суждено начать процесс «отрицания себя как такового». Политическая экономия уходит в гиперреальность экономики (характеризующуюся безмерным наращиванием производства, преобладанием производства спроса над производством товаров и бесконечной чередой кризисов) и потому уже не достигнет стадии своего диалектического

преодоления, не обернется возникновением системы удовлетворения всех потребностей и оптимальной организации дела (а мы так и не сможем оценить ее достоинства и недостатки).

Отныне ничто не добирается до конца своей истории, ибо ничто не в состоянии избежать этого захвата симулякрами. И социальное умирает, так и не раскрыв нам полностью своей тайны.

Пусть, однако, ностальгии по социальности предаются приверженцы удивительной по своей наивности социальной и социалистической мысли. Это они умудрились объявить универсальной и возвести в ранг идеала прозрачности столь неясную и противоречивую, более того, остаточную и воображаемую и, более того, упраздняемую своей собственной симуляцией «реальность», какой является социальное.

Элиас Канетти. Масса и власть (Из одноименной книги. Перевод Л. Ионина)
Масса вместо народа

Масса, вдруг возникающая там, где только что ничего не было, — явление столь же загадочное, сколь и универсальное. Стояли, допустим, вместе несколько человек, пять, десять, от силы двенадцать, не больше. Не было никаких объявлений, никто ничего не ждал. И вдруг все уже черно от людей. Они стекаются сюда отовсюду, как будто движение по улицам стало односторонним. Многие понятия не имеют, что случилось, спроси их об этом, они не смогут ответить; и все-таки они спешат присоединиться к толпе. Их движению присуща решительность, свидетельствующая отнюдь не о простом любопытстве. Можно сказать, что движение одного оказывается заразительным для другого, но дело не только в этом: у них есть цель. Она появилась прежде, чем они это осознали; цель — самое черное место, место, где собралось больше всего людей.

Об этой ярко выраженной форме спонтанной

массы следует кое-что сказать. В месте своего возникновения, то есть собственно в своем ядре, она не так уж спонтанна, как кажется. Но в остальном, если не считать пяти, десяти или двенадцати человек, с которых она началась, масса действительно характеризуется этим свойством. Возникнув однажды, она стремится возрастать. Стремление к росту — первое и главнейшее свойство массы. Она готова захватить каждого, кого только можно. Всякий, имеющий облик человеческого существа, может к ней примкнуть. Естественная масса есть открытая масса: для ее роста вообще не существует никаких границ. Она не признает домов, дверей и замков; ей подозрительны те, кто от нее запирается. Слово «открытая» здесь следует понимать во всех смыслах, она такова всюду и во всех направлениях. Открытая масса существует, покуда она растет. Как только рост прекращается, начинается ее распад.

Ибо распадается масса так же внезапно, как возникает. В этой своей спонтанной форме она образование чувствительное. Открытость, позволяющая ей расти, одновременно опасна для нее. Предчувствие грозящего распада всегда присутствует в ней. Она пытается избежать его,

старяясь быстрее расти. Она вбирает в себя всех, кого только можно, но, когда никого больше не остается, распад становится неизбежным.

Противоположностью открытой массе, которая может расти до бесконечности, которая есть повсюду и именно потому претендует на универсальность, является закрытая масса.

Эта отказывается от роста, для нее самое главное — устойчивость. Ее примечательная черта — наличие границы. Закрытая масса держится стойко. Она создает для себя место, где обособляется; есть как бы предназначенное ей пространство, которое она должна заполнить! Ее можно сравнить с сосудом, куда наливается жидкость: известно, сколько жидкости войдет в этот сосуд. Доступ на ее территорию ограничен, туда не попадешь так просто. Границы уважаются. Эти границы могут быть каменными, в виде крепких стен. Может быть установлен особый акт приема, может существовать определенный взнос для входа. Когда пространство оказывается заполнено достаточно плотно, туда никто больше не допускается. Если какая-то часть желающих осталась за его пределами, в расчет всегда берется лишь плотная масса внутри закрытого пространства, остальные не считаются принадлежащими

к ней всерьез.

Граница препятствует нерегулируемому приросту, но она затрудняет и замедляет также возможность распада. Теряя в росте, масса соответственно приобретает в устойчивости. Она защищена от внешних воздействий, которые могут быть для нее враждебны и опасны. Но особенно много значит для нее возможность повторения. Перспектива собираться вновь и вновь всякий раз позволяет массе избежать распада. Ее ждет какое-то здание, оно существует специально ради нее, и, покуда оно существует, масса будет собираться здесь и впредь. Это пространство принадлежит ей даже во время отлива, и в своей пустоте оно предвещает время прилива.

* * *

Важнейший процесс, происходящий внутри массы, — разрядка. До нее массы в собственном смысле слова еще не существует, по-настоящему ее создает разрядка. Это миг, когда все, принадлежащие к ней, отбрасывают различия и чувствуют себя равными.

Имеются в виду прежде всего обусловленные внешне должностные, социальные, имущественные различия. Каждый по отдельности человек

обычно очень хорошо их чувствует. Они тяжело его гнетут, поневоле и неизбежно разъединяют людей. Человек, занимающий определенное, надежное место, чувствует себя вправе никого к себе близко не подпускать. Он стоит, выразительный, полный уважения к себе, словно ветряная мельница среди просторной равнины; до следующей мельницы далеко, между ними пустое пространство. Вся известная ему жизнь основана на чувстве дистанции; дом, которым он владеет и в котором запирается, должность, которую он занимает, положение, к которому он стремится, — все служит тому, чтобы укрепить и увеличить расстояние между ним и другим. Свобода какого-либо более глубокого движения от человека к человеку ограничена. Все порывы, все ответные попытки иссякают, как в пустыне. Никому не дано приблизиться к другому, никому не дано сравняться с другим. Прочно утвердившиеся иерархии в любой области жизни не позволяют никому дотянуться до более высокого уровня или опуститься на более низкий, разве что чисто внешне. В разных обществах соотношения этих дистанций между людьми бывают различными. В некоторых решающую роль играет происхождение, в других — род занятий или имущественное

положение.

Здесь не место подробно характеризовать эти субординации. Важно отметить, что они существуют повсюду, повсюду осознаются и решающим образом определяют отношения между людьми. Удовольствие занимать в иерархии более высокое положение не компенсирует утраты в свободе движения. Застывший и мрачный, человек стоит на отдалении от других. На его плечах тяжкий груз, и он не может сдвинуться с места. Он забывает, что сам взвалил эту тяжесть на себя, и мечтает от нее освободиться. Но как ему это сделать? Что бы он ни решил, как бы ни старался, он живет среди других, которые сведут все его усилия на нет. Пока они сами продолжают соблюдать дистанцию, ему не приблизиться к ним ни на шаг.

Освободиться от этого сознания дистанции можно лишь сообща. Именно это и происходит в массе. Разрядка позволяет отбросить все различия и почувствовать себя равными. В тесноте, когда между людьми уже нет расстояния, когда тело прижато к телу, каждый ощущает другого как самого себя. Облегчение от этого огромно. Ради этого счастливого мгновения, когда никто не чувствует себя больше, лучше другого, люди

соединяются в массу.

Но миг разрядки, столь желанный и столь счастливый, таит в себе и свои опасности. Уязвима главная иллюзия, которую он порождает: ведь люди, вдруг ощутившие себя равными, не стали равными взаправду и навсегда. Они возвращаются каждый в свой дом, ложатся спать каждый в свою постель. Каждый сохраняет свое имущество. Никто не отказывается от своего имени. Никто не прогоняет своих родственников. Никто не убегает от своей семьи. Лишь когда дело доходит до действительно серьезных перемен, люди порывают старые связи и вступают в новые. Такого рода союзы, которые по своей природе могут охватить лишь ограниченное число участников и, чтобы обеспечить свою устойчивость, должны устанавливать жесткие правила, я называю кристаллами масс. О них еще будет сказано подробней.

Но сама масса распадается. Она чувствует, что распадется. Она боится распада. Она может сохраниться лишь в том случае, если процесс разрядки продолжится, если он вовлечет в себя людей, примкнувших к ней. Лишь рост массы дает возможность принадлежащим к ней не возвращаться к грузу своих частных тягот.

* * *

О страсти массы к разрушению говорится часто, это первое, что в ней бросается в глаза, и нельзя отрицать, что эту страсть действительно можно наблюдать всюду, в самых разных странах и культурах. Все это констатируют и осуждают, но никто по-настоящему не объясняет.

Больше всего масса любит разрушать дома и предметы. Поскольку имеются в виду чаще всего предметы хрупкие, такие как оконные стекла, зеркала, горшки, картины, посуда, принято считать, что именно хрупкость предметов побуждает массы их разрушать. Несомненно, шум разрушения, звук разбиваемой посуды, звон оконных стекол немало добавляет к удовольствию от процесса: это мощные звуки новой жизни, крик новорожденного. То, что их легко вызвать, делает их еще более желанными, все кричит на разные голоса, и вещи рукоплещут, звеня. Особенно бывает нужен, очевидно, такого рода шум в самом начале, когда собралось еще не слишком много народа и событий еще мало или вовсе не произошло. Шум сулит приход подкрепления, на него надеются, в нем видят счастливое предвестие грядущих дел. Но неверно было бы полагать, что

решающую роль здесь играет легкость разрушения. Набрасывались и на скульптуры из твердого камня и не успокаивались, покуда не уродовали их до неузнаваемости!

Христиане отбивали головы и руки греческим богам. Реформаторы и революционеры порой низвергали изображения святынь с таких высот, что это бывало небезопасно для жизни, а камень, который пытались разрушить, нередко оказывался таким твердым, что цели удавалось добиться лишь отчасти.

Разрушение произведений искусства, которые что-то изображают, есть разрушение иерархии, которую больше не признают. Атаке подвергаются установленные дистанции, для всех очевидные и общепризнанные. Их прочность соответствует их незыблемости, они существовали издавна, как полагают, испокон веков, стояли прямо и непоколебимо; и невозможно было приблизиться к ним с враждебными намерениями. Теперь они низвергнуты и разбиты на куски. В этом акте осуществилась разрядка.

Но она не всегда заходит так далеко. Обычное разрушение, о котором шла речь вначале, есть не что иное, как атака на всяческие границы. Окна и двери — принадлежность домов, они самая

уязвимая их часть, ограничивающая внутреннее пространство от внешнего мира. Если разбить двери и окна, дом потеряет свою индивидуальность. Кто угодно и когда угодно может туда войти, ничто и никто внутри не защищены. Но в этих домах обычно прячутся, как считают, люди, пытавшиеся обособиться от массы, ее враги. Теперь то, что их отделяло, разрушено. Между ними и массой нет ничего. Они могут выйти и присоединиться к ней. Можно их заставить сделать это.

Но и это еще не все. Каждый в отдельности человек испытывает чувство, что в массе он выходит за пределы своей личности. Он ощущает облегчение от того, что утратили силу все дистанции, заставлявшие его замыкаться в самом себе, отбрасывавшие его назад. Освободившись от этого груза, он чувствует себя свободным, а значит, может преступить собственные границы. То, что произошло с ним, должно произойти также с другими, он ждет подобного от них. Какой-нибудь глиняный горшок раздражает его тем, что это, в сущности, тоже граница. В доме его раздражают закрытые двери. Ритуалы и церемонии, все, что способствует сохранению дистанции, он ощущает как угрозу, и это для него невыносимо.

Повсюду массу пытаются расчленить, вернуть в заранее навязанные пределы. Она ненавидит свои будущие тюрьмы, которые были для нее тюрьмами и прежде. Ничем не прикрытой массе все кажется Бастилией.

Самое впечатляющее из всех разрушительных средств — огонь. Он виден издалека и привлекает других. Он разрушает необратимо. После огня ничто не вернется в прежнее состояние. Масса, разжигающая огонь, чувствует, что перед ней не устоит ничто. Пока он распространяется, ее сила растет. Он уничтожает все враждебное ей. Огонь, как еще будет показано, — самый мощный символ массы. Как и она, он после всех причиненных им разрушений должен утихнуть.

* * *

Открытая масса — это масса в собственном смысле слова, которая свободно отдается своему естественному стремлению к росту. Открытая масса не имеет ясного чувства или представления, насколько большой она могла бы стать. Она не привязана ни к какому заранее известному помещению, которое ей требовалось бы заполнить. Ее размер не определен; она склонна расти до бесконечности, а для этого ей нужно

лишь одно: больше и больше людей. В этом голом состоянии масса особенно приметна. При этом она воспринимается как что-то необычное, а поскольку она рано или поздно распадается, ее трудно сполна оценить. Наверно, к ней и дальше не относились бы с достаточной серьезностью, если бы чудовищный прирост населения и быстрое разрастание городов, характерное для нашей современной эпохи, не способствовали все более частому ее возникновению.

Закрытые массы прошлого, о которых еще будет идти речь, превратились в организации для посвященных. Своеобразное состояние, характерное для их участников, кажется чем-то естественным; ведь собирались всегда ради какой-то определенной цели: религиозной, торжественной или военной, и состояние, казалось бы, определялось этой целью. Пришедший на проповедь наверняка пребывал в искреннем убеждении, что его интересует проповедь, и он бы удивился, а может быть, и возмутился, скажи ему кто-то, что больше самой проповеди ему приятно множество присутствующих. Смысл всех церемоний и правил, характерных для таких организаций, — в сущности, удержание массы: лучше надежная церковь, полная верую-

щих, чем весь ненадежный мир. Равномерность посещения церкви, привычное и неизменное повторение определенных ритуалов обеспечивали массе своего рода массовые переживания, только введенные в какое-то русло, рамки. Исполнение этих обрядов в строго определенное время заменяет потребность в чем-то более суровом и сильном.

Возможно, таких учреждений было бы достаточно, оставайся число людей примерно одинаковым. Но в города прибывает все больше жителей, рост народонаселения в последние сто лет происходит нарастающими темпами. Тем самым создавались и предпосылки для образования новых, более крупных масс, и ничто, в том числе самое опытное и умелое руководство, не способно было при таких условиях остановить этот процесс.

Выступления против традиционного церемониала, о которых рассказывает история религии, всегда были направлены против ограничения массы, которая в конечном счете хотела вновь ощутить свой рост. Вспомним Нагорную проповедь Нового Завета: она звучала под открытыми небесами, ее могли слушать тысячи, и она была направлена, в этом нет никакого со-

мнения, против ограничительного церемониала официального храма. Вспомним стремление христианства во времена апостола Павла вырваться из национальных, племенных границ еврейства и стать универсальной религией для всех людей. Вспомним о презрении буддизма к кастовой системе тогдашней Индии.

Событиями подобного рода богата и внутренняя история отдельных мировых религий. Храм, каста, церковь всегда оказываются слишком тесными. Крестовые походы порождают массы таких размеров, что их не могло бы вместить ни одно церковное здание тогдашнего мира. Позднее флагелланты устраивают свои действа на глазах у целых городов, причем они еще путешествуют из города в город. Проповедник Весли еще в XVIII веке организует свое движение методистов, устраивая проповеди под открытым небом. Он прекрасно сознает, как важно привлечь к себе большие массы, и не раз отмечает в своем дневнике, сколько людей слушало его на этот раз. Прорыв из закрытых помещений, где принято собираться, всегда означает желание массы вернуть себе прежнюю способность к внезапному, быстрому и неограниченному росту.

Итак, прорывом я называю внезапный переход

закрытой массы в открытую. Такое случается часто, однако не следует понимать этот процесс как чисто пространственный. Порой впечатление такое, как будто масса вытекает из помещения, где она была надежно укрыта, на площадь и на улицы города, где она, все в себя вбирая и всему открытая, получает полную свободу действий. Но важней этого внешнего процесса соответствующий ему процесс внутренний: неудовлетворенность ограниченным числом участников, внезапное желание привлечь к себе других, страстная решимость вобрать всех.

Со времен Французской революции такие прорывы приняли форму, которую можно назвать современной. Очевидно, потому, что масса в значительной мере отказалась от связи с традиционными религиями, нам стало с тех пор легче наблюдать ее, так сказать, в голом, биологическом виде, вне трансцендентных толкований и целей, которые она позволяла себе внушать прежде. История последних 150 лет отмечена быстрым возрастанием числа подобных прорывов; это относится даже к войнам, которые стали массовыми. Массе уже недостаточно благочестивых правил и обетов, ей хочется самой ощутить в себе великое чувство животной силы, способность к

страстным переживаниям. Единственный перспективный путь тут — образование двойной массы, когда одна масса может сопоставлять себя с другой. Чем ближе обе по силе и интенсивности, тем дольше, меряясь друг с дружкой, смогут они продлить свое существование.

* * *

К наиболее бросающимся в глаза чертам жизни массы принадлежит нечто, что можно назвать чувством преследования. Имеется в виду особая возбудимость, гневная раздражительность по отношению к тем, кто раз и навсегда объявлен врагом. Эти люди могут вести себя как угодно, быть грубыми или предупредительными, участливыми или холодными, жесткими или мягкими, — все воспринимается как проявление безусловно дурных намерений, недобрых замыслов против массы, заведомым стремлением откровенно или исподтишка ее разрушить.

Чтобы объяснить это чувство враждебности и преследования, нужно опять же исходить из того основного факта, что масса, однажды возникнув, желает как можно быстрее расти. Трудно переоценить силу и настойчивость, с какой она распространяется. Она чувствует, что растет,

например, в революционных процессах, которые зарождаются в маленьких, однако полных напряжения массах; она воспринимает как помеху всякое противодействие своему росту. Ее можно рассеять или разогнать с помощью полиции, однако это оказывает воздействие чисто временное, как будто рукой согнали рой мух. Но она может быть атакована и изнутри, если требования, которые привели к ее образованию, оказались удовлетворены. Тогда слабые от нее отпадают; другие, собравшиеся к ней примкнуть, поворачивают на полпути.

Нападение на массу извне может лишь ее укрепить. Физический разгон лишь сильнее сплачивает людей. Гораздо опасней для нее нападение изнутри. Забастовка, добившаяся каких-то выгод, начинает распадаться. Нападение изнутри апеллирует к индивидуальным прихотям. Масса воспринимает его как подкуп, как нечто «аморальное», поскольку оно подрывает чистоту и ясность первоначальных настроений. В каждом члене такой массы таится маленький предатель, который хочет есть, пить, любить, который желает покоя. Покуда это для него не так важно, покуда он не придаст этому слишком большого значения, его никто не трогает. Но едва

он заявит об этом вслух, его начинают ненавидеть и бояться. Становится ясно, что он поддался на вражескую приманку.

Масса всегда представляет собой нечто вроде осажденной крепости, но осажденной вдвойне: есть враг, стоящий перед ее стенами, и есть враг в собственном подвале. В ходе борьбы она привлекает все больше приверженцев. Перед всеми воротами собираются прибывающие друзья и бурно стучатся, чтобы их впустили. В благоприятные моменты эту просьбу удовлетворяют; иногда они перелезают и через стены. Город все больше и больше наполняется борцами; но каждый из них приносит с собой и маленького невидимого предателя, который поскорее ныряет в подвал. Осада состоит в попытках не допустить в город перебежчиков. Для врагов внешних стены важнее, чем для осажденных внутри. Это осаждающие все время их надстраивают и делают выше. Они пытаются подкупить перебежчиков и, если их нельзя удержать, заботятся о том, чтобы маленькие предатели, уходящие вместе с ними, прихватили с собой в город достаточный запас враждебности.

Чувство преследования, которому подвержена масса, есть не что иное, как чувство двойной

угрозы. Кольцо внешних стен сжимается все сильней и сильней, подвал внутри становится все больше и больше. Что делает перед стенами враг, всем хорошо видно; но в подвалах все совершается тайно.

Впрочем, образы такого рода обычно раскрывают лишь часть истины. Прибывающие извне, желающие проникнуть в город — для массы не только новые приверженцы, подкрепление, опора, это и ее питание. Масса, переставшая расти, пребывает как бы в состоянии поста. Существуют средства, позволяющие выдержать такой пост; религии достигли по этой части немалого мастерства. Дальше еще будет показано, как мировым религиям удается сохранять массы своих приверженцев, даже если не происходит их большого и быстрого роста.

* * *

Религии, претендующие на универсальность, добившиеся признания, очень скоро изменяют акцент в своей борьбе за души людей. Первоначально речь для них идет о том, чтобы охватить и привлечь к себе всех, кого только возможно. Они мечтают о массе универсальной; для них важна каждая отдельная душа, и каждую они

желают заполучить. Но борьба, которую им приходится вести, постепенно порождает нечто вроде скрытого уважения к противнику с ее уже существующими институтами. Они видят, как непросто им держаться. Поэтому институты, обеспечивающие единство и устойчивость, кажутся им все более важными. Побуждаемые примером противников, они прилагают все усилия, чтобы самим создать нечто подобное, и, если им это удастся, со временем такие институты становятся для них главным. Они начинают жить уже сами по себе, обретают самоценность и постепенно укрощают размах первоначальной борьбы за души. Церкви строятся таких размеров, чтобы вместить тех верующих, которые уже есть. Увеличивают их число осторожно и с оглядкой, когда это действительно оказывается необходимо. Заметно сильное стремление собирать верующих по группам. Именно потому, что их теперь стало много, увеличивается склонность к распаду, а значит, опасность, которой надо все время противодействовать.

Чувство коварства массы, можно сказать, в крови у исторических мировых религий. Их собственные традиции, на которых они учатся, напоминают им, как неожиданно, вдруг это ко-

варство может проявиться. Истории массовых обращений в их же веру кажутся им чудесными, и они таковы на самом деле. В движениях отхода от веры, которых церкви боятся и потому преследуют, такого рода чудо обращается против них, и раны, которые они ощущают на своей шкуре, болезненны и незабываемы. Оба процесса, бурный первоначальный рост и не менее бурный отток, потом питают их постоянное недоверие к массе.

Они хотели бы видеть нечто, противоположное ей, — послушную паству. Недаром принято говорить о верующих как об овцах и хвалить их за послушание. Пастве совершенно чуждо то, что так важно для массы, а именно стремление к быстрому росту. Церковь довольствуется временной иллюзией равенства между верующими, на которой, однако, не слишком строго настаивает, определенной, причем умеренной плотностью и выдержанностью курса. Цель она предпочитает указывать очень отдаленную, где-то в потусторонней жизни, куда вовсе не нужно тотчас спешить, пока еще жив, ее еще нужно заслужить трудом и послушанием. Направление постепенно становится самым главным. Чем дальше цель, тем больше шансов на устойчивость. Как будто бы непременный принцип роста заменяется

другим, весьма от него отличным: повторением.

Верующие собираются в определенных помещениях, в определенное время и при помощи одних и тех же действий приводятся в состояние, присущее массе, но состояние смягченное; оно производит на них впечатление, не становясь опасным, и они к нему привыкают. Чувство единства отпускается им дозированно. От правильности этой дозировки зависит устойчивость церкви.

В каких бы церквах или храмах ни приучились люди к этому точно повторяемому и точно отмеренному переживанию, им уже от него никуда не уйти. Оно уже становится для них таким же непременным, как еда и все, что обычно составляет их существование. Внезапный запрет их культа, подавление их религии государственной властью не может остаться без последствий. Нарушение тщательного баланса в их массовом хозяйстве может спустя время привести к вспышке открытой массы. И уже эта масса проявляет тогда все свои известные основные свойства. Она бурно распространяется. Она осуществляет подлинное равенство взамен фиктивного. Она обретает новую и гораздо более интенсивную плотность. Она отказывается на время от той

далекой и труднодостижимой цели, для которой воспитывалась, и ставит перед собой цель здесь, в этой конкретной жизни с ее непосредственными заботами.

Все религии, подвергавшиеся внезапному запрету, мстили за себя чем-то вроде секуляризации. Сильная, неожиданно дикая вспышка совершенно меняет характер их веры, хотя сами они не понимают природы этой перемены. Они считают эту веру еще прежней и полагают, что лишь стараются сохранить свои глубочайшие убеждения. На самом деле они вдруг совершенно меняются, обретая острое и своеобразное чувство, присущее открытой массе, которую они теперь образуют и которой во что бы то ни стало хотят оставаться.

* * *

Уместно вкратце обобщить главные свойства массы. Можно выделить следующие четыре черты:

1. Масса хочет постоянно расти. Природных границ для ее роста не существует. Там, где такие границы искусственно созданы, то есть в институтах, служащих сохранению замкнутой массы, всегда возможен и время от времени происходит

прорыв массы. Безусловно надежных учреждений, которые могли бы раз и навсегда помешать приросту массы, не существует.

2. Внутри массы господствует равенство. Оно абсолютно, бесспорно и никогда не ставится под вопрос самой массой. Оно имеет такое фундаментальное значение, что можно определить состояние массы именно как состояние абсолютного равенства. У всех есть головы, у всех есть руки, а чем там они отличаются, не так уж важно. Ради этого равенства и становятся массой. Все, что могло бы от этого отвлечь, не стоит принимать во внимание. Все лозунги справедливости, все теории равенства вдохновлены в конечном счете этим опытом равенства, который каждый по-своему пережил в массе.

3. Масса любит плотность. Никакая плотность для нее не чрезмерна. Не должно быть никаких перегородок, ничего чужеродного внутри, все должно по возможности ей принадлежать. Чувство наибольшей плотности она получает в момент разрядки. Возможно, еще удастся подробней определить и измерить эту плотность.

4. Массе нужно направление. Она находится в движении и движется к чему-то. Общность направления для всех, кто к ней принадлежит,

усиливает чувство равенства. Цель, лежащая вне каждого в отдельности и относящаяся ко всем, вытесняет частные, неравные цели, которые были бы для массы смертельны. Для того чтобы она существовала, ей необходимо направление. Поскольку масса всегда боится распада, ее можно направить к какой-то цели. Но тут существует еще и темная инерция движения, зовущая к новым, более важным связям. Часто нет возможности предсказать, какого рода будут эти связи.

Каждое из четырех обозначенных здесь свойств может играть большую или меньшую роль.

Выжить любой ценой

Миг, когда ты пережил других, — это миг власти. Ужас перед лицом смерти переходит в удовлетворение от того, что сам ты не мертвец. Мертвец лежит, переживший его стоит. Как будто прошла битва и ты сам победил тех, кто мертв. Когда речь идет о выживании, каждый враг другого, по сравнению с этим изначальным торжеством всякая боль ничтожна. При этом важно, что выживший один противостоит одному или многим мертвым. Он видит себя одного, он чувствует себя одного, и если говорить о власти, которую

даст ему этот миг, то нельзя забывать, что она порождается его единственностью, и только ею.

Все мечты человека о бессмертии содержат в себе что-то от желания пережить других. Хочется не только быть всегда, хочется быть тогда, когда других больше не будет. Каждый хочет стать старше других и знать это, а когда его самого не будет — пусть скажет об этом его имя.

Самая низшая форма выживания — это умерщвление. Как умерщвляют животное, чтобы употребить его в пищу, когда оно беззащитно лежит перед тобой и можно разрезать его на куски, разделить, как добычу, которую проглотишь ты и твои близкие, так хочется убить и человека, который оказался у тебя на пути, который тебе противодействует, стоит перед тобой прямо, как враг. Хочется повергнуть его, чтобы почувствовать, что ты еще тут, а его уже нет. Но он не должен исчезнуть совсем, его телесное присутствие в виде трупа необходимо для этого чувства триумфа. Теперь можно делать с ним что угодно, а он тебе совсем ничего не сделает. Он лежит, он навсегда останется лежать, он никогда уже не поднимется. Можно забрать у него оружие; можно вырезать части его тела и сохранить навсегда как трофей. Этот миг конфронтации с убитым

наполняет оставшегося в живых силой особого рода, которую не сравнить ни с каким другим видом силы. Нет другого мгновения, которое так хотелось бы повторить.

Ибо переживший других знает о многих мертвецах. Если он участвовал в битве, он видел, как падали вокруг него другие. Он отправлялся на битву специально, чтобы утвердить себя, увидев поверженных врагов. Он заранее поставил себе целью убить их как можно больше, и победить он может, лишь если это ему удастся. Победа и выживание для него совпадают. Но и победители должны платить свою цену. Среди мертвых много и их людей. На поле битвы вперемешку лежат друг и враг, общая груда мертвецов. Нередко в битвах бывает так, что враждовавших покойников нельзя разделить: одной массовой могиле суждено объединить их останки.

Оставшийся в живых противостоит этой груде павших как счастливчик и привилегированный. Тот факт, что он все еще жив, а такое множество других, только что бывших рядом, нет, сам по себе потрясает. Беспомощно лежат мертвецы, среди них стоит он, живой, и впечатление такое, будто битва происходила именно для того, чтобы он их пережил. Смерть обошла его стороной и настигла

других. Не то чтобы он избегал опасности. Он, как и его друзья, готов был встретить смерть. Они пали. Он стоит и торжествует.

Это чувство превосходства над мертвыми знакомо каждому, кто участвовал в войнах. Оно может быть скрыто скорбью о товарищах; но товарищей немного, мертвых же всегда много. Чувство силы от того, что ты стоишь перед ними живой, в сущности, сильнее всякой скорби, это чувство избранности среди многих, кого так сравняла судьба. Каким-то образом чувствуешь себя лучшим потому, что ты еще тут. Ты утвердил себя, поскольку ты жив. Ты утвердил себя среди многих, поскольку все, кто лежит, уже не живут. Кому пережить таким образом других удается часто, тот герой. Он сильнее. В нем больше жизни. Высшие силы благосклонны к нему.

* * *

Человеческое тело голо и уязвимо; в своей мягкости оно открыто любому нападению. То, чего человек с трудом и всяческими ухищрениями не допускает до себя на близком расстоянии, может легко настичь его издали. В него могут вонзиться копье и стрела. Он изобрел щит и доспехи, построил вокруг себя стены и целые крепости. Но

главная цель всех его предохранительных мер — чувство неуязвимости.

Достичь его он пытался двумя различными путями. Они прямо противоположны друг другу, а потому и весьма различны их результаты. С одной стороны, он старался отдалить от себя опасность, отделиться от нее пространствами большими, но обозримыми, которые можно было бы охранять. Он, так сказать, прятался от опасности, и он отгонял опасность.

Но больше всего отвечал его гордости другой путь. Во всех древних текстах полно хвастовства и самовосхвалений такого рода: человек сообщает, что он искал опасности и подвергал себя ей. Он подпускал ее к себе как можно ближе и рисковал всем. Из всех возможных ситуаций он выбирал ту, где был больше всего уязвим, и обострял ее до крайности. Он кого-то сделал своим врагом и вызвал его на бой. Возможно, это уже и прежде был его враг, возможно, он только сейчас его объявил врагом. Как бы там ни было, он сознательно выбирал путь высшей опасности и не старался оттягивать решение.

Это путь героя. Чего хочет герой? На что он в действительности нацелен? Слава, которой все народы окружают своих героев, стойкая, непре-

ходящая слава, если их деяния разнообразны или достаточно часто повторяются, может обмануть относительно более глубоких мотивов этих деяний. Предполагается, что лишь слава их и интересует, но я думаю, в основе здесь лежит нечто совсем другое: возможность быстрее всего обеспечить себе таким образом чувство неуязвимости.

Конкретная ситуация, в которой оказывается герой после испытанной опасности, — это ситуация пережившего других. Враг покушался на его жизнь, как он на жизнь врага. С этой ясной и твердой целью они выступили друг против друга. Враг повержен. С героем же во время борьбы ничего не случилось. Переполненный необычайным чувством этого превосходства, он бросается в следующую битву. Ему было все нипочем, ему будет все нипочем. От победы к победе, от одного мертвого врага к другому он чувствует себя все уверенней: возрастает его неуязвимость, а значит, надежней становятся его доспехи.

Чувство такой неуязвимости нельзя добыть иначе. Кто отогнал опасность, кто от нее укрылся, тот просто отодвинул решение. Но кто принял решение, кто действительно пережил других, кто вновь утвердился, кто множит эпизоды своего

превосходства над убитыми, тот может достичь чувства неуязвимости. В сущности, он лишь тогда герой, когда этого добивается. Теперь он готов на все, ему нечего бояться. Возможно, мы больше бы восхищались им, если бы ему еще было чего бояться. Но это взгляд постороннего наблюдателя. Народ хочет неуязвимого героя.

* * *

Однако деяния героя отнюдь не исчерпываются поединком, которого он сам искал. Ему может встретиться целое скопище врагов, и если он тем не менее их атакует, если он не только не избегает их, но всех их убивает, это может мгновенно породить в нем чувство собственной неуязвимости.

Один из самых давних и верных друзей спросил как-то Чингисхана: «Ты повелитель, и тебя называют героем. Какими знаками завоевания и победы отмечена твоя рука?» Чингисхан ответил ему: «Перед тем как взойти на царство, я скакал однажды по дороге и натолкнулся на шестерых, которые поджидали меня в засаде у моста, чтобы лишить меня жизни. Приблизившись, я вынул свой меч и напал на них. Они осыпали меня градом стрел, но все стрелы пролетели мимо,

и ни одна меня не тронула. Я перебил их всех своим мечом и невредимый поскакал дальше. На обратном пути я вновь скакал мимо места, где убил этих шестерых. Шесть их лошадей бродили без хозяев. Я привел всех лошадей к себе домой».

Эту неуязвимость в борьбе против шестерых врагов одновременно Чингисхан считает верным знаком завоевания и победы.

Удовлетворение от того, что удалось пережить других, своего рода наслаждение, может перейти в опасную и ненасытную страсть. Она растет при каждом новом случае. Чем больше груда мертвых, перед которой ты стоишь живой, чем чаще видишь такие груды, тем сильней и настоятельней потребность повторить это переживание. Карьеры героев и наемников свидетельствуют о том, что здесь возникает своего рода наркомания, от которой ничто не избавляет. Обычное объяснение, которое дается в таких случаях, гласит: такие люди способны дышать лишь воздухом опасности; безопасное существование для них тускло и пусто; мирная жизнь уже неспособна доставить им никакого удовольствия. Опасность обладает притягательной силой, этого не следует недооценивать. Но нельзя и забывать, что эти люди выходят навстречу своим приключениям

не в одиночку, вместе с ними подвергаются опасности и другие. Что им действительно нужно, без чего они уже не могут обойтись, так это возобновляющееся вновь и вновь наслаждение от того, что ты пережил других.

Дело также и не в том, что для удовлетворения этой потребности надо вновь и вновь подвергать опасности самого себя. Ради победы на полях сражений действует несметное множество людей, и если ты их предводитель, если ты контролируешь их движения, если ты лично принял решение о битве, можно присвоить и ее результат, за который несешь ответственность, с кожей и волосами всех трупов. Полководец не случайно носит свое гордое имя. Он повелевает, он посылает своих людей против врага на смерть. Если он побеждает, ему принадлежит все поле битвы, усеянное мертвецами. Одни пали за него, другие против него. От победы к победе он переживает их всех. Триумфы, которые он празднует, наиболее полно соответствуют его стремлениям. Их значение измеряется числом мертвых. Этот успех достоин усмешки, даже если враг храбро защищался, даже если победа далась тяжело и стоила множества жертв.

«Цезарь превзошел всех героев и полководцев

тем, что он провел больше всех битв и уложил больше всех врагов. Ибо за те неполные десять лет, что шла война в Галлии, он взял штурмом более 800 городов, покорил 300 народностей, сражался в общей сложности с тремя миллионами людей, и миллион из этого числа убил в боях, а еще столько же взял в плен».

Так пишет Плутарх, один из самых гуманных умов в истории человечества, которого нельзя упрекнуть ни в воинственности, ни в кровожадности. Это суждение особенно ценно потому, что в нем так заостряется итог. Цезарь сражался против трех миллионов, один миллион убил, один взял в плен. Позднейшие полководцы, монголы и не монголы, его превзошли. Но это античное суждение примечательно еще и той наивностью, с какой все происходившее приписывалось одному полководцу. Взятые штурмом города, покоренные народы, миллионы поверженных, убитых, плененных врагов — все это принадлежало Цезарю. Тут нашла выражение не наивность Плутарха, а наивность истории. Это привычно со времен военных сообщений египетских фараонов; и здесь едва ли что изменилось до наших дней.

* * *

Итак, Цезарь счастливо пережил великое множество врагов. В таких случаях считается бестактным подсчитывать собственные потери. Они известны, но их не ставят в упрек великому человеку. В войнах Цезаря их, по сравнению с числом поверженных врагов, было не так уж и много. И все-таки он пережил еще несколько тысяч союзников и римлян, с этой точки зрения он тоже вышел не совсем с пустыми руками.

Эти гордые итоги передавались от поколения к поколению; у каждого находились свои потенциальные герои-воины. Их страстное стремление пережить массы людей распалялось, таким образом, до безумия. Приговор истории как будто оправдывает их замысел еще до того, как им удастся его осуществить. Наиболее изощренные в этом умении пережить других обретают в ней самое величественное и надежное место. Для такого рода посмертной славы чудовищное число жертв в конце концов важнее, чем победа или поражение. Еще неизвестно, что в самом деле творилось в душе у Наполеона во время русского похода.

Властитель как переживший других

Параноическим типом властителя можно назвать такого, который любыми средствами стремится избавить себя от опасности. Вместо того чтобы бросить вызов и выступить против нее, вместо того чтобы в борьбе с ней прийти к какому-то результату, пусть он даже окажется и неблагоприятным, он старается преградить ей путь хитростью и осторожностью. Он создает вокруг себя свободное, хорошо обозримое пространство, чтобы заметить любой знак ее приближения и принять нужные меры. Так, он будет озираться по сторонам, поскольку сознание, что ему грозит множество врагов, которые могут выступить против него все одновременно, заставляет бояться окружения. Опасность грозит отовсюду, не только спереди. Она даже больше за его спиной, где он не может увидеть ее достаточно быстро. Поэтому он оглядывается, прислушивается даже к самому тихому шороху, ибо за ним может крыться враждебный умысел.

Воплощение всех опасностей — это, конечно, смерть. Важно знать точно, откуда ее можно ждать. Первый и решающий признак властителя

— это его право распоряжаться жизнью и смертью. К нему никто не вправе приблизиться; кто явится к нему с известием, кто должен к нему подойти, того необходимо обыскать, ведь он может быть вооружен. Смерть старательно отдаляется от него: он сам может и должен ею распоряжаться. Вынесенный им смертный приговор всегда исполняется. Это знак его власти; она абсолютна лишь до тех пор, пока остается неоспоримым его право приговаривать к смерти.

Ибо по-настоящему подвластен ему лишь тот, кого он может послать на смерть. Именно к этому сводится при необходимости последнее испытание покорности. Солдаты воспитываются в двоякого рода готовности: их посылают убивать его врагов, и они сами готовы принять за него смерть. Но не только солдаты, все другие его подданные также знают, что в любой момент от него зависит их жизнь или смерть. Страх, который он внушает, — одно из его свойств; этот страх — его право, и за это право его больше всего почитают. Поклонение ему принимает самые крайние формы. Так сам Господь Бог держит в своих руках смертный приговор всем живущим и тем, кто еще будет жить. От его прихоти зависит, когда он будет приведен в исполнение. Протестовать

никому не приходит в голову, это бесполезно.

Однако земным властителям не так просто, как Господу. Они не вечны; их подданные знают, что их дни тоже сочтены. И конец этих дней можно даже ускорить. Как всегда, это делается с помощью насилия. Кто перестал повиноваться, тот решается на борьбу. Ни один властитель не может быть раз и навсегда уверен в покорности своих людей. Покуда они позволяют ему себя убивать, он может спать спокойно. Но едва кому-то удастся избежать приговора, властитель оказывается в опасности.

Чувство этой опасности никогда не покидает обладателя власти. Позднее, когда речь зайдет о природе приказа, будет показано, что его страхи должны становиться тем сильней, чем больше его приказов выполнено. Он может успокоить их, лишь преподав урок. Ему нужна будет казнь ради самой казни, даже если жертва не так уж виновата. Время от времени ему придется повторять казни, тем чаще, чем быстрее растут его сомнения. Самые надежные, можно сказать, самые желанные его подданные — это те, кто посланы им на смерть.

Ибо каждая казнь, за которую он ответствен, прибавляет ему немного силы. Это сила пере-

жившего других, которой он таким образом набирается. Его жертвы вовсе не собирались на самом деле выступить против него, но они могли бы это сделать. Его страх превращает их, может быть только задним числом, во врагов, которые против него боролись. Он их осудил, они побеждены, он их пережил. Право выносить смертные приговоры в его руках становится оружием наподобие любого другого, только гораздо действенней. Варварские и восточные властители нередко очень любили собирать свои жертвы где-нибудь возле себя, так чтобы они всегда были перед глазами. Но и там, где обычаи этого не позволяли, властители все-таки подумывали, как бы такое сделать. Зловещую забаву в подобном духе устроил, как рассказывают, римский император Домициан. Пир, который он придумал и подобного которому наверняка никогда больше не было, дает самое наглядное представление о глубинной сути параноического властителя. Вот что сообщает об этом Кассий Дио:

«В другой раз Домициан поступил с благороднейшими сенаторами и всадниками следующим образом. Он оборудовал зал, в котором потолки, стены и полы были совершенно черными, и приготовил непокрытые ложа такого же цвета,

которые находились на голом полу. Гостей к себе он пригласил ночью и без сопровождающих. Возле каждого он велел сначала поставить пластинку в форме надгробия с именем гостя, тут же был и маленький светильник, какие висят в склепах. Затем в зал вошли хорошо сложенные нагие мальчики, тоже раскрашенные черным, словно призраки. Они совершили вокруг гостей зловещий танец, после чего расположились у их ног. Затем гостям были предложены угощения, какие обычно приносят в жертву духам умерших, сплошь черные на блюдах того же цвета. Гости же дрожали от страха, ожидая, что в следующий миг им перережут горло. Все, кроме Домициана, онемели. Царила мертвая тишина, как будто они уже находились в царстве мертвых. Император же принялся громко рассуждать о смерти и об убийствах. Наконец он их отпустил. Но сперва он удалил их рабов, которые их ждали в передней. Он поручил гостей другим рабам, им незнакомым, и велел препроводить их в повозки или носилки. Таким образом он внушил им еще больше страха. Едва гости оказались у себя дома и перевели дух, как к каждому стали являться посыльные императора. Теперь каждый из них был уверен, что тут-то и настал его последний час. Между тем

один из них принес пластинку из серебра. Другие пришли с разными предметами, среди них блюда из драгоценного материала, которые подавались во время еды. Наконец у каждого из гостей появился мальчик, прислуживавший ему как его особый дух, но теперь вымытый и украшенный. После ночи, проведенной в смертельном страхе, теперь они получали подарки».

* * *

Таков был «Пир покойников» у Домициана, как это назвал народ. Непрерывный страх, в каком он держал своих гостей, заставил их замолкнуть. Говорил только он, и он говорил про смерть и умерщвление. Казалось, будто они мертвы, а он один еще жив. На это угощение он собрал всех своих жертв, ибо именно жертвами они должны были себя чувствовать. Наряженный как хозяин, но на самом деле словно переживший их, он обращался к своим жертвам, наряженным гостями. Ситуация подчеркивалась не только количеством тех, кого он пережил, в ней была особая утонченность. Хотя они были как будто мертвы, он мог в любой момент умертвить их на самом деле. В сущности, так был начат процесс, позволявший ему пережить других. Отпуская

этих людей, он их милует. Еще раз он заставляет их дрожать, поручая чужим рабам. Они добираются до дому — он вновь посылает к ним вестников смерти. Они приносят им подарки, в том числе самый большой — жизнь. Он может, так сказать, послать их из жизни в смерть, а затем опять возвращать из смерти в жизнь. Этой игрой забавляется он не раз. Она дает ему высшее чувство власти — выше уже не придумаешь.

Насилие

С насилием связано представление о чем-то близком и теперешнем. В нем больше принуждения, и оно более непосредственно, чем власть. Подчеркнуто говорят о физическом насилии. Самые низкие и самые животные проявления власти лучше назвать насилием. Насильно хватают добычу и насильно отправляют ее в рот. Если для насилия есть достаточно времени, оно становится властью. Но в миг, когда ситуация потом все-таки обостряется, когда надо принять решение и пути назад уже нет, она вновь оказывается чистым насилием. Власть — понятие более общее и более широкое, чем насилие; она гораздо содержательней и не так динамична.

Она более обстоятельна, даже по-своему терпелива. Само немецкое слово «Macht» происходит от древнего готского корня «magan», что значит «мочь, иметь возможность», и никак не связано с корнем «machen» — «делать».

Разницу между насилием и властью можно продемонстрировать на очень простом примере на отношении между кошкой и мышью. Мышь, схваченная однажды, подверглась со стороны кошки насилию. Та поймала ее, держит и собирается умертвить. Но как только она начинает с нею играть, возникает нечто новое. Она отпускает ее, позволяя чуть-чуть отбежать. Стоит же мыши повернуться к кошке хвостом и побежать, как она уже оказывается вне сферы ее насилия. Но во власти кошки настичь мышь. Если она позволит ей убежать совсем, та покинет и сферу ее власти. Однако, покуда кошка наверняка может достать мышь, та остается в ее власти. Пространство, которым распоряжается кошка, мгновения надежды, которые она даст мыши, но под строжайшим надзором, не теряя интереса к ней и к ее умерщвлению, все это вместе: пространство, надежда, надзор и заинтересованность в умерщвлении — можно назвать сущностью власти или просто самой властью.

Таким образом, власти в противоположность насилию присуща несколько большая широта, у нее больше и пространства, и времени. Можно сказать, что тюрьма похожа на пасть: отношение между ними — это отношение между властью и насилием. В пасти уже не остается подлинной надежды, для жертвы здесь нет уже ни времени, ни пространства. И в том, и в другом отношении тюрьма — как бы расширенная пасть. Можно сделать несколько шагов туда-сюда, как мышь под надзором кота, то и дело чувствуя на спине взгляд надзирателя. Есть еще время и есть надежда за это время бежать или получить свободу, при этом всегда чувствуешь заинтересованность тех, в чьей власти ты находишься, в твоей гибели, даже если эта гибель как будто отсрочена.

* * *

Но разницу между властью и насилием можно проследить и в совсем другой области, в многообразных оттенках религиозной преданности. Каждый верующий в Бога постоянно чувствует себя в божьей власти и должен с ней по-своему считаться. Но некоторым этого недостаточно. Они ждут открытого вмешательства, непосредственного акта божественного насилия, чтобы

удостовериться в нем и ощутить его на себе. Они все время ждут приказа. Бог для них имеет ярко выраженные черты повелителя. Его активная воля, их активное подчинение в каждом отдельном случае, в каждом проявлении составляют для них суть веры. Религии такого рода склонны подчеркивать роль божественного предопределения, так что приверженцы их получают возможность воспринимать все, что с ними происходит, как непосредственное выражение божественной воли. Они всякий раз могут подчиняться ей, и так вплоть до самого конца. Как будто они уже живут во рту Господа, который в следующий миг их разжует. Однако в этом ужасном состоянии они должны бесстрашно жить дальше и действовать праведно.

Наиболее полно выражена эта тенденция в исламе и кальвинизме. Их приверженцы жаждут божественного насилия. Одной божьей власти им недостаточно, в ней есть что-то слишком общее, далекое, и она слишком много предоставляет им самим. Постоянное ожидание приказа решающим образом влияет на людей, раз и навсегда вручивших себя повелителю, и определяет их отношения с другими. Оно создает тип верующего-солдата, для которого наиболее точным

выражением жизни является битва, который не страшится ее, потому что все время чувствует себя ее участником…

Скорость, о которой может идти речь в связи с проблемой власти, — это скорость, позволяющая настичь и схватить. И в том, и в другом случае образцами для человека служили животные. Умению настигать он учился у быстро бегающих хищников, особенно у волка. Умению схватить, внезапно прыгнуть его могли научить кошки; достойными зависти и восхищения в этом искусстве были лев, леопард и тигр. Хищные птицы соединяли оба умения: и настигать, и хватать. Когда хищная птица парит одиноко и не скрываясь, а потом издалека устремляется на добычу, мы наблюдаем этот процесс во всей яркости. Он подсказал человеку такое оружие, как стрела, давшая ему в руки на долгое время самую большую скорость: своей стрелой человек как бы устремляется к добыче.

Вот почему эти животные с давних времен служат и символами власти. Они олицетворяют собой богов, предков властителей. Волк был предком Чингисхана. Сокол-Гор — божество египетского фараона. В африканских империях лев и леопард — священные животные царских

родов. Из пламени, на котором сжигалось тело римского императора, вылетал в небо орел как воплощение его души.

Но быстрей всех во все времена была молния. Суеверный страх перед молнией, от которой нет никакой защиты, распространен повсюду. Монголы, рассказывает францисканский монах Рубрук, посланный к ним Людовиком Святым, больше всего на свете боятся грома и молнии. В грозу они удаляют из своих юрт всех чужаков, сами закутываются в черный войлок и прячутся так, покуда она не пройдет. Персидский историк Рашид, находившийся у них на службе, сообщает, что монголы остерегаются есть мясо животного, пораженного молнией, более того, они боятся к нему приблизиться. Множество разнообразных запретов у монголов служит тому, чтобы умилостивить молнию. Рекомендуется избегать всего, что могло бы ее вызвать. Зачастую молния — главное оружие самого могущественного бога.

Ее внезапная вспышка среди темноты действует как откровение. Молния настигает и озаряет. По ее особенностям люди пытаются судить о воле богов. Какой она имеет вид, и в каком месте неба возникает? Откуда она берется? Куда направлена? У этрусков разгадкой этого занимался особый

разряд жрецов, которые потом у римлян стали называться «фульгураторы».

«Власть повелителя, — говорится в одном древнем китайском тексте, — подобна молнии, хотя и уступает ей в мощи». Удивительно, как часто молния поражала властителей. Рассказы об этом не всегда бывают достоверны. Однако показательно уже само желание увидеть здесь связь. Известий такого рода много у римлян и у монголов. Для обоих народов характерна вера в верховного небесного бога, у обоих сильно развито представление о власти. Молния рассматривается здесь как сверхъестественное повеление. Она поражает того, кого должна поразить. Если она поражает властителя, значит, она послана властителем еще более могущественным. Она служит самой быстрой, самой внезапной, но при этом и самой наглядной карой.

В подражание ей человек создал и свое особое оружие огнестрельное. Вспышка и гром выстрела из ружья и особенно из пушки вызывали страх у народов, которым это оружие было неведомо: оно воспринималось ими как молния.

И прежде люди всячески старались сделать себя быстрейшими из животных. Приручение лошади и образование конницы в ее наиболее

совершенной форме привели к великому историческому прорыву с Востока. В каждом сообщении современников о монголах подчеркивалось, насколько они были быстры. Их появление всегда было неожиданным, они возникали так же внезапно, как исчезали, и вновь вырастали будто из-под земли. Даже поспешное бегство они могли обернуть атакой: стоило подумать, что они бежали, как ты уже оказывался ими окружен.

С тех пор физическая скорость как свойство власти всячески возрастало. Излишне останавливаться на ее проявлениях в наш технический век.

* * *

Что касается хватания, то с ним связан особый вид быстроты — разоблачение. Перед тобой безобидное или покорное существо, но сдерни с него маску, и под ней окажется враг. Чтобы оказаться действенным, разоблачение должно быть внезапным. Такого рода скорость можно назвать драматической. Настигать приходится лишь в небольшом, ограниченном пространстве, здесь этот процесс сконцентрирован. Засада как средство маскировки известна с древности, ее противоположность — разоблачение. От маски

к маске можно добиться решающих перемен в отношениях власти. Притворству врага противопоставляется собственное притворство. Властитель приглашает военных и гражданскую знать к себе на пир. Вдруг, когда они меньше всего ожидают враждебных действий, их всех убивают. Смена одного положения другим точно соответствует прыжку из засады. Быстрота процесса доведена до крайности; от нее одной зависит успех замысла.

Властитель, хорошо знающий свое собственное постоянное притворство, всегда может подозревать его и в других. Всякая быстрота, чтобы их опередить, кажется ему дозволенной и необходимой. Его мало трогает, если он набросится на невиновного: в общей сущности масок можно и ошибиться. Но его глубоко заденет, если из-за промедления враг ускользнет.

Тайна как способ существования

Тайна — самая сердцевина власти. Акт выслеживания по своей природе тайный. Затаившись, существо становится неотличимо от окружения и не выдаст себя ни малейшим шевелением. Оно как бы целиком исчезает, облекается тайной,

словно чужой кожей, и надолго замирает в своем укрытии. В этом состоянии его отличает своеобразная смесь нетерпения и терпения. Чем дольше удается его выдержать, тем больше надежды на внезапную удачу. Но чтобы в конце концов что-то удалось, терпение существа должно быть бесконечным. Если оно выдаст себя хоть на мгновение раньше, все пойдет прахом, и, отягощенное разочарованием, оно должно будет начать все сначала.

Потом уже хватать можно открыто, потому что здесь должен действовать ко всему еще и страх, но когда начнется пожирание, все вновь окутывается тайной. Рот темен, желудок и кишки невидимы. Никто не знает и никто не задумывается, что там беспрестанно происходит у него внутри. Этот самый изначальный процесс пожирания в основном покрыт тайной. Он начинается с тайны, с сознательного и активного выслеживания, и в тайной тьме тела завершается неосознанно и пассивно. Лишь миг хватания ярко вспыхивает в промежутке, подобно молнии, ненадолго сам себя освещая.

Сокровеннейшая тайна — то, что происходит внутри тела. Знахарь, силу которому даст знание телесных процессов, должен вытерпеть необыч-

ные операции на собственном теле, прежде чем будет допущен к своим занятиям.

У племени аранда в Австралии человек, желающий быть посвященным в знахари, отправляется к пещере, где обитают духи. Там ему вначале протыкают язык. Он остается совсем один, несмотря на то что очень боится духов. Способность выдержать одиночество, да еще именно в таком месте, где это особенно опасно, по-видимому является непременным условием для этой профессии. Считается, что потом будущего знахаря убивают копьем, которое пронзает ему голову от уха до уха, и духи уносят его в свою пещеру, где живут как бы в своего рода потустороннем мире. Для нашего мира он просто потерял сознание, в потустороннем же мире у него тем временем изымают все внутренние органы и заменяют новыми. Надо думать, что эти органы лучше обычных, может быть, неуязвимее или, во всяком случае, меньше подвержены колдовским угрозам. Он приобретает таким образом силу для своей профессии, но если вникнуть, его новая власть начинается с его внутренностей. Он был мертв, прежде чем вступил в свои права, но эта смерть служит более совершенному наполнению его тела. Его тайна известна только ему и духам: она в его теле.

Примечательная черта — наличие у колдуна множества мелких кристаллов. Он носит их вокруг своего туловища, они непременная принадлежность его профессии: усердные манипуляции с этими камешками совершаются при всяком действии с больным. Иногда колдун сам раздает такие камешки, затем вновь извлекает их из пораженных частей тела больного. Чужеродные, твердые частицы в теле оказываются причиной его страданий. Это как бы своеобразная валюта болезни, курс которой известен лишь колдуну.

Если не считать этих весьма интимных действий с больным, колдовство обычно совершается на расстоянии. Втайне изготовляются всевозможные виды острых волшебных палочек, затем их издалека направляют на жертву, которая, не подозревая об этом, оказывается поражена ужасным действием колдовства.

Здесь в ход идет тайна выслеживания. Выпущенные с дурными намерениями маленькие стрелы иногда можно увидеть на небе в виде комет. Сам акт совершается быстро, но его действия приходится иногда ждать некоторое время.

Индивидуальные колдовские действия с целью причинить зло доступны каждому аранда.

Но защита от злых действий — в руках одного лишь знахаря. Посвящение и практика дают им особые возможности защиты. Некоторые очень старые знахари могут навлекать напасть на целые группы людей. Так что существует как бы три степени власти. Тот, кто способен одновременно напустить болезнь на многих, — самый могущественный.

Немалый страх внушает колдовская сила чужаков, обитателей отдаленных мест. Вероятно, их боятся потому, что не так хорошо знают противоядие против их колдовства, как против собственного. Кроме того, здесь нет такой возможности привлечь к ответу за причиненное зло, как внутри собственной группы.

Поскольку речь идет о защите от зла, об излечении болезней, власть знахаря можно считать доброй. Но от него же может исходить и всяческое зло. Ничто плохое не происходит само по себе, все навлекает злонамеренный человек либо дух. То, что нам обычно представляется причиной, — для них вина. Всякая смерть — убийство, и это убийство требует отмщения. Поразительно, насколько все это близко к миру параноика.

* * *

Двойственный характер присущ тайне и дальше, во всех высших формах проявления власти. От примитивного знахаря до параноика не более шага. И не больше шага от них обоих до властителя, во всем множестве его хорошо известных исторических обличий.

У тайны здесь весьма активная сфера действия. Властитель, прибегающий к ней, хорошо это знает и прекрасно умеет оценить, что ему надо в каждом конкретном случае. Он знает, за кем надо следить, если хочешь чего-то добиться, и он знает, кого из своих помощников использовать для слежки. У него много тайн, поскольку он много хочет, и он приводит их в систему, где одна тайна скрывает другую. Одну он доверяет тому, другую этому и заботится о том, чтобы они не могли друг с другом связаться.

Каждый, кто что-то знает, находится под надзором другого, которому неизвестно, какой собственно тайной владеет тот, за кем он следит. Он должен брать на заметку каждое слово и каждое движение порученного его надзору; эти сведения, накапливаясь, дают повелителю представление об образе мыслей наблюдаемого. Но и

сам соглядатай находится под наблюдением других, и донесения одного корректируют донесения другого. Таким образом, властитель может всегда судить о надежности сосуда, которому он доверил свои тайны, о том, насколько стоит ему доверять, и способен заметить, когда этот сосуд окажется настолько полон, что может уже перелиться через край. Ключ ко всей сложной системе тайн в руках у него одного. Он чувствует, что опасно доверить его целиком кому-то другому.

Власть означает неодинаковую степень просматриваемости. Властитель просматривает все, но он не позволяет просматривать себя. Никто не вправе знать ни его настроений, ни его намерений.

Классическим примером такой загадочности был Филиппа Мариа, последний Висконти. Его герцогство Милан было великой державой в Италии XV века. Не было равных ему в умении скрывать свою сущность. Никогда не говорил он открыто, чего хочет, но все затуманивал с помощью своеобразной манеры выражаться. Если кто-то становился ему не по душе, он продолжал его хвалить; наделяя кого-то почестями и подарками, он обвинял его в горячности или глупости и давал человеку понять, что он не достоин

своего счастья. Пожелав кого-то иметь в своем окружении, он на время приближал человека к себе, обнадеживал, а затем оставлял ни с чем. Но когда человек уже считал, что его забыли, он призывал его к себе обратно. Удостоив милости людей, в чем-то перед ним отличившихся, он с удивительным притворством спрашивал потом об этом других, как будто ничего не знал об оказанном благодеянии. Как правило, он давал не то, что его просили, и всегда не так, как этого хотели. Задумав вручить кому-то подарок либо оказать почести, он за много дней до этого любил расспрашивать человека о посторонних вещах, чтобы тот не мог догадаться о его намерениях. Более того, чтобы никому не выдать, что у него на уме, он нередко сожалел о дарованной им же самим милости или о смертном приговоре, привести в исполнение который сам же приказал.

В этом последнем случае он действовал так, будто пытался держать что-то в тайне даже от самого себя. Терялось ощущение тайны осознанной и активной, ее вытесняла пассивная форма тайны, той, что скрывается в темноте собственного тела, что хранят там, где к ней уже нет доступа, тайны, о которой не помнишь сам.

«Право царей хранить свои тайны от отца,

матери, братьев, жен и друзей», — говорится в арабской «Книге династии», где рассказано о многих древних традициях двора Сасанидов.

Персидский царь Хосров II Победоносный придумал совершенно особый способ, чтобы удостовериться, умеет ли человек, которого он хочет использовать, хранить тайну. Зная, что двое из его приближенных связаны узами тесной дружбы, во всем и против всех заодно, он уединялся с одним из них и доверял ему тайну, касавшуюся его друга. Он сообщал ему, что решил этого друга казнить, и под угрозой наказания запрещал выдавать тому эту тайну. Затем он наблюдал, как тот, к кому относилась угроза, появлялся во дворце, наблюдал за его поведением, походкой, за цветом лица, когда он представал перед царем. Если видно было, что его поведение ни в чем не изменилось, он убеждался, что друг не выдал ему тайну. Тогда он этого человека приближал к себе, повышал в чине, всячески отличал и демонстрировал свое расположение. Позднее, наедине, он ему говорил: «Я собирался казнить этого человека, потому что мне кое-что о нем сообщили, но, разобравшись в деле поближе, я убедился, что все это была ложь».

Но если он замечал, что названный им человек

проявлял страх, держался особняком и отворачивал взгляд, становилось ясно, что его тайна выдана. Тогда он демонстрировал предателю свою немилость, понижал его в чине и сурово с ним обращался. Другому же он давал понять, что всего лишь испытывал его друга, доверив ему тайну.

Он доверял способности придворного молчать, когда вынуждал его предать своего лучшего друга, обреченного на смерть. Но самым скрытным старался быть он сам. «Кто не годится, чтобы служить царю, — говорил он, — тот и сам ничего не стоит, а кто сам ничего не стоит, от того мало проку».

* * *

Власть молчания всегда высоко ценилась. Она означает способность не поддаваться никаким внешним поводам для разговора, а им нет числа. Ты ни на что не даешь ответа, как будто тебя и не спрашивают. Невозможно понять, нравится тебе что-то или не нравится. Молчишь, хотя и не онемел. Но слышишь. Стоическая добродетель непоколебимости в своем крайнем выражении сводилась к молчанию.

Молчание предполагает, что ты хорошо знаешь

то, о чем умалчиваешь. Поскольку в действительности ты онемел не навсегда, существует выбор между тем, о чем можно сказать, и тем, о чем ты умалчиваешь. То, о чем умалчивается, лучше известно. Это знание точнее, и оно больше ценится. Оно не только защищается молчанием, оно сосредоточивается в нем. Человек, который много молчит, всегда производит впечатление более сосредоточенного. Предполагается, что раз он молчит, он много знает. Предполагается, что он много думает о своей тайне. Она у него на уме всякий раз, когда приходится ее защищать.

Таким образом, тайна в молчащем не может забыться. Его уважают за то, что она жжет его все сильнее и сильнее, что она растет в нем и что он все-таки ее не выдаст.

Молчание изолирует: молчащий более одинок, чем говорящие, — значит, ему дана власть обособленности. Он хранитель сокровища, и это сокровище в нем. Молчание противостоит превращению. Кто чувствует себя на внутреннем посту, не может от него отлучиться. Молчащий может кем-то прикинуться, но уже надолго. Он может надеть какую-то маску, но уж тогда ее не меняет. Текучие превращения не для него. Они слишком неопределенны, с ними никогда не зна-

ешь заранее, куда попадешь. Молчат всегда там, где не хотят превращаться. Замолкнув, обрывают всякую возможность прекращения. Разговором все начинается между людьми, в молчании все застывает.

Молчащий обладает тем преимуществом, что его высказывания больше ожидают. Ему придают больше цены. Оно звучит кратко, обрывисто и напоминает приказ.

Между приказывающим и тем, кто должен ему подчиняться, возникают отношения искусственного видового различия, предполагающие отсутствие общего языка. Они не должны говорить друг с другом, как будто они этого не могут. При всех обстоятельствах считается, что отношения между ними возможны лишь в форме приказа. В рамках таких отношений получающие приказ становятся молчальниками. Но обычно ожидают также, что, когда молчальники наконец заговорят, их высказывания будут звучать как приказы.

Недоверие ко всем более свободным формам правления, презрение к ним, как будто они вовсе не способны серьезно функционировать, связаны с тем, что в них мало тайны. В парламентские дебаты вовлечены сотни людей, смысл этих деба-

тов — в их открытости. Здесь провозглашаются и сравниваются противоположные мнения. Даже заседания, объявленные закрытыми, трудно держать в полном секрете. Профессиональное любопытство прессы, финансовые интересы часто влекут за собой разглашение тайны.

Считается, что сохранить тайну может отдельный человек или совсем небольшая группа близких ему людей. Совещаться надежней всего, по-видимому, совсем маленькими группами, где все обязались хранить тайну и предусматриваются самые тяжелые санкции за предательство. Но доверять ее лучше всего отдельному человеку. Тот может сам не знать ее суть, пока ему ее не доверили, а получив, воспримет как приказ, который необходимо быстрее выполнить.

Почтение, с каким относятся к диктатурам, в значительной мере основано на том, что те имеют возможность сконцентрировать всю мощь тайны, которая в демократиях разбавлена и разделена между многими. С издевкой подчеркивается, что демократии все способны проболтать. Каждый обо всем болтает, каждый во все вмешивается, нет ничего, о чем бы не было известно заранее. Кажется, будто сетуют на недостаток решительности, на самом деле разочарованы

недостатком тайны.

Люди готовы вынести многое, если что-то нагрянет на них насильственно и внезапно. Похоже, существует какой-то особый рабский соблазн, ведь сам не замечаешь, как оказываешься в могучем брюхе. Не понятно, что на самом деле произошло, не понятно, когда; другие еще рады первыми угодить в пасть чудовища. Почтительно ждут, трепещут и надеются стать избранной жертвой. В этом поведении можно видеть апофеоз тайны. Ее прославлению подчинено все прочее. Не так уж важно, что происходит, если только это происходит с внезапностью извергнувшегося вулкана, неожиданно и необратимо.

Но когда все тайны оказываются у одной стороны и в одних руках, это может в конечном счете оказаться роковым не только для тех, кто ими владеет, что само по себе было бы не так уж и важно, но также и для тех, к кому они относятся, а вот это имеет значение огромное. Всякая тайна взрывчата и все больше раскаляется изнутри. Клятва, скрепляющая ее, есть то самое место, где она и раскрывается.

* * *

До чего опасна может быть тайна, стало особенно ясно лишь в наши дни. Она обрела еще больше власти в различных сферах, только внешне друг от друга независимых. Едва скончался диктатор, против которого мир вел объединенную борьбу, как тайна явилась теперь уже в виде атомной бомбы — более опасная, чем когда-либо, и быстро набирающая силу в своих отпрысках.

Концентрацией тайны можно назвать отношение между числом тех, кого она касается, и числом тех, кто ею обладает. Из этого определения легко увидеть, что наши современные технические секреты — самые концентрированные и опасные тайны из когда-либо существовавших. Они касаются всех, но осведомлено о них лишь малое число людей, и от пяти–десяти человек зависит, будут ли они применены.

Подражание и притворство

Словами «подражание» и «превращение» часто неразборчиво и неточно обозначают одни и те же явления. Было бы целесообразно их развести.

Это ни в коем случае не одно и то же; их осторожное различение поможет осветить процессы собственно превращения. Подражание — это нечто внешнее; предполагается что-то, находящееся перед глазами, чьи движения копируются. Если речь идет о звуках, подражание — это не больше, чем точное их воспроизведение. Этим еще ничего не говорится о внутреннем состоянии подражающего. Обезьяны и попугаи подражают, но при этом они не изменяются. Им неизвестно, что представляет собой то, чему они подражают, оно не пережито ими изнутри. Они скачут от одного к другому, но последовательность, в которой это происходит, не имеет для них ни малейшего значения. Переменчивая поверхностность облегчает подражание. Обычно подражают в какой-то отдельной черте. Поскольку это — по самой природе явления — черта, бросающаяся в глаза, подражание часто кажется способным давать характеристику, чего нет на самом деле.

Человека можно узнать по определенным словосочетаниям, часто им употребляемым, и попугай, который ему подражает, может внешне о нем напомнить. Но эти словосочетания не обязательно характерны для этого человека. Это могут быть фразы специально для попугая. Тогда

попугай подражает чертам несущественным, и непосвященный никогда не узнает по ним человека.

Короче говоря, подражание, или имитация, — это самый первый импульс к превращению, который мгновенно затем исчезает. Такие импульсы могут следовать быстро один за другим и относиться к самым разным предметам, что особенно наглядно демонстрируют обезьяны. Именно легкость имитации препятствует ее углублению.

Само же превращение выглядит телом по отношению к двухмерности подражания. Переходной формой от подражания к превращению, где остановка на полпути делается сознательно, является притворство.

Выказывать себя другом, имея враждебные намерения (что практикуется во всех позднейших формах власти), — это ранний и важный род превращения… При этом внутреннее хорошо спрятано за внешним. Дружественно-безвредное — снаружи, враждебно-смертельное — внутри. Смертельное обнаруживает себя лишь в своем заключительном акте.

* * *

Эта двоякость и есть крайняя форма того, что обычно именуют притворством. Само слово в его буквальном смысле не могло бы быть нагляднее, чем оно есть. Однако оно применялось к столь многим более слабым процессам, что утратило добрую часть своей выразительности. Я хочу восстановить его строгий смысл, называя притворством дружественный образ, в котором скрывается враждебный. […]

Притворство — это ограниченный род превращения, — единственный, что доступен властителям вплоть до нынешнего дня. Дальше властитель не может превращаться. Он остается самим собой, пока осознает свои враждебные намерения. Предел его превращений — это внутреннее ядро, его подлинный облик. Он может счесть полезным иногда спрятать ужас, им внушаемый. Для этого он пользуется разными масками. Но они надеваются на время и никогда не изменяют его внутреннего облика, представляющего его природу.

Маска власти

Конечный продукт превращения — фигура. Дальнейшее превращение не допускается. Фигура ограничена и ясна во всех своих чертах. Она не природна, а является созданием человека. Это спасение из бесконечного потока превращений. Не следует путать ее с тем, что современная наука обозначает как вид или род.

Ближе всего можно постичь ее сущность, размышляя о фигурах богов древних религий. Стоит рассмотреть с этой точки зрения некоторых египетских богов. Богиня Шехмет — женщина с головой львицы, Анубис — мужчина с головой шакала. Тот — мужчина с головой ибиса. У богини Хатор — голова коровы, у Гора — голова сокола. Эти фигуры в их определенной неизменной — двойственной человеческо-животной — форме тысячелетиями властвовали в религиозных представлениях египтян. В этой форме они повсюду запечатлевались, к ним — именно в этой форме — возносились молитвы. Удивительно их постоянство. Однако уже задолго до того, как возникли устойчивые системы божеств подобного рода, двойные человеческо-животные создания были

обычны у бесчисленных народов Земли, никак не связанных между собой.

Мифические предки австралийцев — человек и животное одновременно, иногда — человек и растение. Эти фигуры называются тотемами. Есть тотем кенгуру, тотем опоссум, тотем эму. Для каждого из них характерно, что это человек и животное одновременно: он ведет себя как человек и как определенное животное и считается предком обоих.

Как понимать эти изначальные фигуры? Что они, собственно, собой представляют? Чтобы их понять, нужно иметь в виду, что это представители мифических первовремен, когда превращение было универсальным даром всех существ и происходило безостановочно. Человек мог превращаться во что угодно; он умел также превращать других. Из этого общего потока выделились отдельные фигуры, представляющие собой не что иное, как закрепление определенных превращений. Фигура, которой, так сказать, придерживаются, которая становится живой традицией, которая постоянно изображается, о которой постоянно рассказывают, — это не то, что мы сегодня называли бы видом животного, — не кенгуру, не эму, но нечто двоякое и одновремен-

но: кенгуру, проникнутый человеком, человек, по желанию становящийся эму.

Процесс превращения оказывается, таким образом, древнейшей фигурой. Из многообразия бесчисленных и бесконечных возможных превращений вычленено одно определенное и закреплено в фигуре. Сам процесс превращения — один из таких процессов — прочно установлен и потому наполнен особой ценностью по сравнению со всеми другими процессами, которые исключены. Эта двойная фигура, содержащая и сохраняющая в себе превращение человека в кенгуру и кенгуру в человека, навсегда остающаяся себе тождественной, есть первая и древнейшая из фигур, их исток.

Можно сказать, что это еще свободная фигура. Оба ее аспекта равноценны. Ни один не подчинен другому, ни один не спрятан за другим. Она восходит к первобытным временам, но в богатстве своих смысловых воздействий она всегда современна. К ней можно подступиться; излагая мифы, которым она принадлежит, человек соучаствует в ней.

* * *

Нам важно добиться ясности относительно этого древнейшего рода фигур. Важно понять, что фигуры начинались совсем не с простого, а со сложного и — в противоположность тому, что мы нынче представляем как фигуру, — с того, что выражало процесс превращения одновременно с его результатом.

Маска благодаря своей неподвижности отличается от остальных конечных состояний превращения. На место никогда не успокаивающейся, вечно подвижной мимической игры выступает ее прямая противоположность — полная неподвижность и застылость. В игре мимики особенно ярко выражается беспрестанная готовность человека к превращениям. Мимика человека богаче, чем мимика любого другого существа, человеческая жизнь богаче всех других в смысле превращений. Невозможно передать, что происходит с человеческим лицом в течение одного-единственного часа. Если бы хватило времени точнее пронаблюдать все побуждения и настроения, проскальзывающие по лицу, то удивительно, как много можно было бы узнать и выделить импульсов к превращениям.

Обычай не везде одинаково оценивает свободную игру лица. В некоторых цивилизациях свобода лица существенно ограничена. Считается неподобающим сразу показывать боль или радость, ее замыкают в себе, и лицо остается спокойным. Глубинной причиной такого отношения является требование постоянной автономии человека. Никому не разрешено проникать в другого, и этот другой не позволяет того же самому себе. Человек должен иметь силу быть сам по себе и быть тождественным себе. Одно с другим здесь тесно связано. Ибо именно воздействие одного человека на другого вызывает непрестанные быстротечные превращения. Они выражаются в жестикуляции и мимике; там, где эти действия считаются предосудительными, любое превращение затруднено и в конечном счете парализуется.

Уяснив природу застылости таких неестественных «стоических» натур, легко понять сущность маски вообще: она есть конечное состояние. Подвижный поток неясных, всегда незаконченных превращений, чудесным выражением которых является естественное человеческое лицо, застывает в маску; он завершается в ней. Когда маска налицо, не показывается уже ничего, что начина-

ется, что представляет собой еще бесформенный бессознательный импульс. Маска ясна, она выражает нечто вполне определенное, не больше и не меньше. Маска неподвижна, это определенность, которая не меняется.

Правда, под этой маской может быть другая. Ничто не мешает исполнителю носить под одной маской другую. Двойные маски известны многим народам: когда снята одна, под ней появляется другая. Но это тоже маска, тоже конечное состояние. Переход от одного к другому скачкообразен. Все возможные посредующие звенья исключены; нет смягчающих переходов, подобных тем, что можно наблюдать на лице человека. Новое, другое является внезапно. И оно столь же ясно и неподвижно, сколь и предыдущее. От маски к маске возможно все, что угодно, но всегда скачком, всегда одинаково резко.

Маска воздействует в основном вовне. Она создает фигуру. Она неприкосновенна и устанавливает дистанцию между собой и зрителем. Она может, например, в танце, приблизиться к зрителю. Однако сам зритель должен оставаться там, где он находится. Застылость формы выливается в постоянство дистанции; дистанция не меняется, и в этом завораживающий характер маски.

Ибо сразу за маской начинается тайна. В острых ситуациях, о которых здесь и идет речь, то есть когда маска воспринимается всерьез, человеку не положено знать, что за ней находится. Она многое выражает, но еще больше скрывает. Она представляет собой раздел: скрывая за собой опасность, которую не положено знать, препятствуя установлению доверительных отношений, она приближается к человеку вплотную, однако именно в этой близости остается резко от него отделенной. Она угрожает тайной, сгущающейся за нею. Поскольку ее нельзя прочесть, как подвижное человеческое лицо, человек гадает и пугается неизвестного.

При этом в визуальной сфере происходит то, с чем каждый знаком по сфере акустической. Предположим, человек прибывает в страну, язык которой ему совершенно неизвестен. Вокруг люди, пытающиеся с ним заговорить. Чем меньше он понимает, тем больше старается угадать. Он гадает в полной неизвестности, опасаясь враждебности. Но он не верит себе, расслабляется и даже слегка разочарован, когда слова переведены на один из знакомых ему языков. Как они безвредны! Каждый совершенно незнакомый язык представляет собой акустическую маску,

став понятным, он превращается в понимаемое и вызывающее доверие лицо.

Маска, следовательно, — то, что не превращается, что пребывает неизменным и длящимся в изменчивой игре превращений. Она воздействует, по сути дела, тем, что скрывает прячущееся за ней. Маска полноценна, когда исключительно она перед нами, а то, что за ней, остается непознаваемым. Чем определеннее она сама, тем туманнее то, что за нею. Никто не знает, что могло бы вырваться из-под маски. Напряжение между застылостью маски и тайной, которая за ней сокрыта, может достигать необычайной силы. Это и есть причина ее угрожающего воздействия. «Я именно то, что ты видишь, — как бы говорит маска, — а то, чего ты боишься, скрывается за мною». Она завораживает и одновременно заставляет держаться подальше. Никто не смеет ее тронуть. Смертью карается срывание маски кем-то другим. Пока она активна, она неприкосновенна, неуязвима, священна. Определенность маски, ее ясность заряжена неопределенностью. Власть ее в том и заключается, что она в точности известна, но не понятно, что она в себе таит. Она ясна снаружи, так сказать, только спереди.

Но если в определенных церемониях маска

ведет себя именно так, как ожидается, как привыкли, она может действовать успокаивающе. Ибо она стоит между скрытой за ней опасностью и зрителем. Так что если с ней обращаться правильно, она может уберечь от опасностей. Она может собирать опасность и хранить ее внутри себя, выпуская наружу лишь в той мере, в какой это соответствует ее облику. Установив с маской контакт, можно выработать способ поведения по отношению к ней. Она представляет собой фигуру с характерными формами поведения. Если их изучить и понять, если знать правильную дистанцию, она сама охранит от опасностей, в ней заключенных.

* * *

Об этом воздействии маски, ставшей фигурой, можно было бы сказать многое: с нее начинается, в ней продолжается и гибнет драма. Однако речь здесь идет только о самой маске. Нужно также знать, что она представляет собой с другой стороны, ибо она воздействует не только вовне, на тех, кто не знает, что за ней скрывается, — ее носят люди, прячущиеся за ней.

Эти люди хорошо знают, что они такое. Но их задача — разыгрывать маску и при этом оста-

ваться в определенных, соответствующих маске границах.

Маска надета, она снаружи. Как материальная вещь, она четко отграничена от того, кто ее носит. Он воспринимает маску как нечто чуждое и никогда не спутает с собственным телом. Она ему мешает, суживает поле зрения. Разыгрывая маску, он всегда раздвоен — он сам и она. Чем чаще он ее надевает, чем лучше знает, тем больше в процессе игры переходит от него в фигуру маски. Но, несмотря ни на что, оставшаяся часть его личности отделена от маски; это та часть, которая боится разоблачения, которая знает, что внушает страх, не имея на то оснований. Тайна, которая пугает тех, кто снаружи, должна воздействовать и на него, находящегося внутри; но это, как можно полагать, другое воздействие. Они боятся того, чего не знают, он боится разоблачения. Именно этот страх не позволяет ему слиться с ней целиком. Его превращение может зайти очень далеко, но оно никогда не будет полным. Маска, которую иначе можно было бы сбросить, — это граница, не дающая осуществиться превращению. Ее нельзя потерять, она не должна упасть, не должна открыться, он полон забот о ее судьбе. Так что сама маска остается внешней по отноше-

нию к его превращению как оружие или орудие, с которым нужно правильно обращаться. Как просто человек он оперирует ею, как исполнитель он одновременно превращается в нее. Он, следовательно, двойствен и на протяжении всего представления должен оставаться таковым.

Превращение

Властитель, осознающий свои враждебные намерения, не может притворством обмануть всех. Есть ведь и другие, которые благодаря своей власти таковы же, как он сам, не признают его и считают соперником. По отношению к ним он всегда настороже, они могут стать опасными. Он ждет удобного случая «сорвать маску» с их лица. Тогда сразу обнаружится их подлинная суть, хорошо ему известная по себе самому. Разоблачение сделает их безопасными. На первый раз он может, если это отвечает его целям, оставить их в живых, но проследить, чтобы им не удавались новые обманы, и будет всегда держать их на виду в их подлинном обличье.

Превращения, совершаемые не им самим, ему невыносимы. Он может возносить на высокие посты людей, бывших ему полезными, однако эти

осуществляемые им социальные превращения должны быть четко определенными, ограниченными и оставаться полностью в его власти. Возвышая и унижая, он дает установление, и никто не может отважиться на превращение по собственному почину.

Властитель ведет нескончаемую борьбу против спонтанных и неконтролируемых превращений. Разоблачение — средство, используемое им в этой борьбе, — полярно противоположно превращению, и его можно назвать обратным превращением. Менелай осуществил его с морским старцем Протеем, не испугавшись образов, в которые тот воплощался, стремясь ускользнуть. Менелай схватил и держал его крепко, пока тот не обрел свой подлинный облик.

Главная характеристика обратного превращения состоит в том, что всегда точно известен его результат. Ожидаемое ясно заранее; властитель начинает процесс с ужасающей уверенностью, презирая все превращения противника, видя насквозь эти лживые ухищрения. Обратные превращения могут совершаться однократно, как это было с Менелаем, возобладавшим над мудростью Протея. Но они могут производиться часто и, в конце концов, превратиться в страсть.

Учащение обратных превращений ведет к редукции мира. Богатство форм его проявления в этом случае ничего не значит, всякое многообразие становится подозрительным. Все листья одинаково сухи и пыльны, все лучи угасают во мраке враждебности.

В душевной болезни, которая находится с властью в столь тесном родстве, что их можно было бы назвать близнецами, обратное превращение выступает как один из видов тирании. Паранойю особенно характеризуют два свойства. Одно из них психиатры именуют диссимуляцией. Это не что иное, как притворство как раз в том смысле, в каком это слово здесь употребляется. Параноики могут притворяться так хорошо, что о многих невозможно догадаться, сколь серьезно они больны. Другое свойство — это бесконечное разоблачение врагов. Враги повсюду, они притворяются друзьями, принимают безвредный и безопасный облик, но параноик, обладающий даром пронизывающего зрения, ясно видит, что скрывается внутри. Он срывает маски, и оказывается, что все это, в сущности, один и тот же враг. Параноик, как никто другой, предается обратным превращениям, и в этом он подобен застывшему властителю. Место, которое он, по

его представлению, занимает, значение, которое он себе придает, — все это в глазах других, разумеется, чистая фантазия. Тем не менее он будет отстаивать их, беспрерывно используя оба связанных между собой процесса — притворство и разоблачение.

* * *

Социальное и религиозное явление огромной важности представляет собой запрет превращения. Вряд ли оно было когда-либо всерьез проанализировано, не говоря уже о том, что понято. Дальнейшее представляет собой попытку рассмотреть его в самом первом приближении.

В тотемных церемониях племени аранда может участвовать лишь тот, кто принадлежит тотему. Превращение в двойную фигуру предка из мифических времен — это привилегия, доступная лишь избранным. Никто не может, не имея на то права, воспользоваться превращением, охраняемым, как драгоценнейшее достояние. Его берегут, как берегут слова и звуки сопровождающих его священных песнопений. Именно точность деталей, составляющих эту двойную фигуру, ее определенность и отграниченность облегчают ее охрану. Запрет на приобщение к

ней строго соблюдается; на это требуется полная религиозная санкция. Только после долгих и сложных инициаций молодой человек входит в группу тех, кому при определенных обстоятельствах дозволено превращение. Женщинам и детям оно безусловно и строго запрещено. Для инициированных из других тотемов запрет иногда снимается в знак особого уважения. Но это единичные случаи; затем запрет соблюдается так же строго, как и раньше.

В христианстве, сколь ни велики различия между ним и верованиями аранда, также имеется запретная фигура — дьявол. Его опасность возвещается на все лады, в сотнях рассказов-предостережений повествуется, к чему ведет сговор с дьяволом, детально живописуются вечные муки душ в аду. Интенсивность этого запрета необычайна, она особенно чувствуется там, где люди испытывают побуждение действовать ему вопреки. Истории одержимых, поступками которых управлял сам дьявол или многие дьяволы, хорошо известны. Самые знаменитые из них — аббатиса Жанна из Анжа, монастыря урсулинок в Лудене, и отец Сурэн, изгонявший из нее дьявола до тех пор, пока дьявол не перешел в него самого. Здесь дьяволом оказались одержимы люди,

специально посвятившие себя богу. Им гораздо строже, чем простым людям, запрещено сближение с дьяволом, не говоря уже о превращении в него. Но запретное превращение поглотило их целиком. Вряд ли мы ошибемся, если свяжем силу превращения с силой запрета, которому оно подлежит.

Сексуальный аспект запрета превращения, в плену которого они оказались, яснее всего можно наблюдать в явлении ведьм. Единственное прегрешение ведьмы состоит в ее половой связи с дьяволом. Чем бы она ни занималась в остальное время, ее тайное существование венчают оргии с участием дьявола. Именно поэтому она и ведьма. Совокупление с дьяволом — важнейшая составная часть ее превращения.

Идея превращения через половое совокупление стара как мир. Поскольку каждое создание обычно сочетается лишь с существом другого пола того же самого рода, легко предположить, что отклонение от этого будет восприниматься как превращение. В этом случае уже древнейшие брачные законы могут рассматриваться как одна из форм запрета превращения, то есть запрета любого другого превращения, кроме тех, что разрешены и желательны.

* * *

Пожалуй, важнейшими из всех запретных превращений являются социальные. Любая иерархия возможна только при наличии таких запретов, не позволяющих представителям какого-либо класса чувствовать себя близкими или равными высшему классу. У примитивных народов эти запреты бросаются в глаза даже среди возрастных классов. Однажды возникшее разделение подчеркивается все острее. Переход из низшего в высший класс всеми способами затрудняется. Он возможен лишь посредством особых инициаций, которые при этом воспринимаются как превращения в собственном смысле слова. Часто этот переход рассматривается так, будто человек умирает в низшем классе и затем пробуждается к жизни в высшем. Между классами стоит смерть — весьма серьезная граница. Превращение предполагает долгий и опасный путь. Оно не дается даром; кандидат должен пройти через всевозможные проверки, труднейшие испытания. Однако все, что он испытал в молодости, позднее, уже принадлежа к высшему классу, он преподносит новичкам как суровый экзаменатор. Идея высшего класса, таким образом,

стала идеей чего-то строго обособленного, целой жизни самой по себе. С ней связаны священные песни и мифы, иногда свой собственный язык. Представителям низших классов, женщинам например, полностью исключенным из высших классов, остается с ужасом и покорностью созерцать ужасные маски и внимать таинственным звукам.

Наиболее жестко разделение классов проводится в кастовой системе. Здесь принадлежность к определенной касте начисто исключает любое социальное превращение. Каждый точнейшим образом ограничен как снизу, так и сверху. Даже прикосновение к низшим строжайше запрещено. Брак разрешается только между представителями своей же касты, профессия предписывается. Значит, исключена возможность благодаря роду занятий превратиться в существо другого сословия. Последовательность проведения этой системы удивительна; лишь ее детальное исследование помогло бы распознать все возможные пути социальных превращений. Поскольку всех их следует избегать, они тщательно регистрируются, описываются, проверяются. Эта абсолютная система запретов позволяет — с позитивной точки зрения — составить четкое представление

о том, что должно рассматриваться как превращение из низшего класса в высший. «Опыт о кастах» с точки зрения превращения совершенно необходим; его еще предстоит написать.

Изолированная форма запрета превращения, то есть запрета, относящегося к одному-единственному лицу, находящемуся на вершине общества, обнаруживается в ранних формах королевской власти. Надо отметить, что два самых ярких типа властителей, известных древности, отличаются как раз своим прямо противоположным отношением к превращению.

На одном полюсе стоит мастер превращений, который может принять любой образ, какой только ему захочется, будь то образ зверя, духа животного или духа умершего. Это трикстер, вбирающий в себя всех других благодаря превращениям, — любимая фигура мифов североамериканских индейцев. Его власть основана на бесчисленных, доступных ему превращениях. Он поражает исчезновениями, нападает неожиданно, позволяет схватить себя, но так, что исчезает снова. Важнейшее средство исполнения им его удивительных деяний — все то же превращение.

Подлинной власти мастер превращений достигает в качестве шамана. В экстатическом трансе

он созывает духов, подчиняет их себе, говорит их языком, становится таким же, как они, и отдает им приказания на их особый лад. Путешествуя на небо, он превращается в птицу, морским зверем достигает дна моря. Для него нет невозможного, во все убыстряющейся череде превращений он достигает пароксизма, сотрясающего его до тех пор, пока он не обретет то, что хочет.

Если сравнить мастера превращений со священным королем, для которого действенны сотни ограничений, который должен оставаться постоянно на одном и том же месте, и оставаться неизменным, к которому нельзя приблизиться и которого нельзя увидеть, — то станет ясно, что их различие — если свести его к наименьшему общему знаменателю — заключается не в чем ином, как в противоположном отношении к превращению. Для шамана возможности превращения безграничны, и он использует их максимально полно, королю же они запрещены, и возможность превращения парализована вплоть до полного оцепенения. Король должен оставаться настолько себе тождественным, что не может даже постареть. Ему следует быть мужчиной одних и тех же лет, зрелым, сильным, здоровым, и лишь только появлялись первые признаки ста-

рости — седина, например, или слабела мужская сила, — его часто убивали.

* * *

Статичность этого типа, которому запрещено собственное превращение, хотя от него исходят бесчисленные приказы, ведущие к превращениям других, вошла в сущность власти. Этот образ определяет и представления современного человека о власти.

Властитель — это тот, кто неизменен, высоко вознесен, находится в определенном, четко ограниченном и постоянном месте. Он не может спуститься «вниз», случайно с кем-нибудь столкнуться, «уронить свое достоинство», но он может вознести любого, назначив его на тот или иной пост. Он превращает других, возвышая их или унижая. Не подлежит, например, сомнению, что стремление превратить целый народ в рабов или животных пробуждается во властителе тем сильнее, чем многочисленнее этот народ.

То, что не может случиться с властителем, он совершает с другими. Он, неизменный, изменяет других по своему произволу.

Часть 2
Вождь массы

Антонио Грамши. Современный «Государь»
(Из «Тюремных тетрадей» А. Грамши. Перевод Г. Смирнова, В. Дмитриченкова, П. Козлова)
«Государь» и государство

...«Государь» Макиавелли мог бы рассматриваться как политическая идеология, выступающая не как пресная утопия, не как доктринерские рассуждения, но как порождение конкретной фантазии, воздействующей на разъединенный и распыленный народ, с тем чтобы всколыхнуть его и организовать в нем коллективную волю. Утопический характер «Государя» состоит в том, что Государя не существовало в реальной исторической действительности; он не представал перед итальянским народом как непосредственная объективность, обладающая определенными характерными чертами; напротив, он был чистейшей доктринерской абстракцией, символом вождя, идеальным кондотьером; однако страсть и мифологизм, содержащиеся в этой книжице и обладающие в ней огромной драматической си-

лой, плотно концентрируются в заключительной главе и обретают там жизнь в призыве, обращенном к Государю, существующему реально.

В своей книжице Макиавелли рассуждает о том, каким должен быть Государь, чтобы привести народ к созданию нового Государства, и его рассуждения ведутся строго логично, научно отрешенно; в заключительной же главе сам Макиавелли становится народом, сливается с народом, но не с народом вообще, а с тем самым народом, которого он убедил своими предшествующими рассуждениями, народом, сознанием и выражением которого он себя ощущает, народом, с которым он мысленно отождествляется; кажется, что вся «логическая» работа оказывается не чем иным, как саморефлексией народа, внутренне целостными рассуждениями, развивающимися в народном сознании и завершающимися страстным непроизвольным криком.

Страсть в ходе внутренней саморефлексии снова оборачивается аффектом, лихорадочным чувством, фанатизмом действия. Вот почему эпилог «Государя» не является чем-то внешним, «навешенным» на него извне, чем-то риторическим — эпилог этот следует истолковывать как необходимый элемент произведения, более того,

как тот элемент, отсвет которого лежит на всем произведении и превращает его в своего рода «политический манифест».

Можно научно показать, как Сорель[3], исходя из концепции идеологии мифа, не дошел до понимания политической партии, а остановился на концепции профессионального союза. Правда, у Сореля «миф» получал свое наивысшее выражение не в профессиональном союзе как организации коллективной воли, а в практической деятельности профессионального союза и в уже действующей коллективной воле, в практическом действии, наиболее полной реализацией которого должна была бы стать всеобщая забастовка, то есть, так сказать, «пассивная деятельность», носящая негативный и предварительный характер (позитивный характер дается только достижением консенсуса ассоциированных воль), деятельность, не предполагающая для себя самой фазы «активной и конструктивной».

У Сореля, таким образом, боролись между собой две необходимости: необходимость ми-

---

[3] Примечания: 3

Жорж Сорель (1847–1922) — французский социолог, теоретик революционного профсоюзного движения (синдикализма), автор книги «Размышления о насилии», в которой он рассматривает миф о всеобщей стачке в качестве коллективного мобилизующего представления, способного стать основой революционных преобразований.

фа и необходимость критики мифа, поскольку «всякий предустановленный план утопичен и само понятие предвидения — не более чем пустой звук», то иррациональное не может не господствовать, и всякая организация людей — антиистория, предрассудок; в таком случае отдельные практические проблемы, которые выдвигает историческое развитие, можно решать лишь от случая к случаю, пользуясь первыми попавшимися под руку критериями, а оппортунизм оказывается единственно возможным политическим курсом. Однако возможно ли, чтобы миф был «неконструктивным», можно ли, оставаясь в пределах интуиции Сореля, вообразить, будто по-настоящему действенным оказывается инструмент, оставляющий коллективную волю на примитивной и элементарной стадии ее чистого формирования ради разъединения (ради шизоидного «раскола»), пусть даже насильственного, то есть разрушающего существующие нравственные и юридические отношения? И эта столь примитивно сформированная коллективная воля, не прекратит ли она сразу же своего существования, беспорядочно распылившись в бесконечности единичных воль, идущих к позитивной стадии разными, непохожими друг на

друга путями? Не говоря уж о том, что не может быть разрушения, отрицания без имплицитно подразумеваемого созидания, утверждения, и не в метафизическом смысле, а практически, то есть политически, в качестве партийной программы. В данном случае ясно видно, что за спонтанностью скрывается чистейший механицизм, за свободой (непроизвольным жизненным порывом) — доведенный до предела детерминизм, за идеализмом — абсолютный материализм.

Современный государь, государь-миф не может быть реальным лицом, конкретной личностью; он может быть только организмом; элементом сложного общества, в котором уже начала складываться коллективная воля, добившаяся признания и отчасти уже проявившая себя в действии. Организм этот уже дан историческим развитием, и он есть политическая партия — первая клетка, в которой соединяются ростки коллективной воли, стремящиеся к тому, чтобы обрести универсальность и тотальность.

В современном мире только непосредственное и неотвратимое историко-политическое действие, характеризуемое необходимостью стремительных, молниеносно принимаемых мер, может мифологически воплотиться в кон-

кретную личность; стремительность мер должна оказаться необходимой в силу большой непосредственной опасности; большой опасности, которая, именно потому, что она большая, моментально разжигает страсти и фанатизм, аннигилируя критичность рассудка и разъедающую иронию, способные разрушить «божественно провиденциальный» характер кондотьера. Но такого рода непосредственное действие по самой своей природе не может быть долговременным и органичным: оно почти всегда оказывается действием типа реставрации и реорганизации, а не типа, свойственного созданию новых государств и новых национальных и социальных структур (как это было в случае с «Государем» Макиавелли, в котором реставрационный аспект был всего лишь частью риторики, то есть был связан с литературными представлениями об Италии как прямой преемнице Рима, которая призвана восстановить строй и могущество Рима), типа «охранительного», а не оригинально творческого, при котором, иными словами, предполагается, что уже наличная коллективная воля оказалась ослабленной и распыленной, пережившей грозный и опасный кризис, однако не смертельный и катастрофический, и которую поэтому требу-

ется вновь сосредоточить и укрепить, но уже не как коллективную волю, создаваемую ex novo изначально и направляемую на конкретные и рациональные цели, а как обладающую конкретностью и рациональностью, пока еще никак не проявившими себя и не подвергшимися еще критике реального, универсально признанного опыта истории.

Абстрактный характер сорелевской концепции «мифа» проявляется во враждебности (принимающей форму страстного нравственного отвращения) к якобинцам, которые, бесспорно, были «категорическим воплощением» «Государя» Макиавелли. «Современный Государь» должен обладать разделом, посвященным якобинству (в том широком значении, которое это понятие имело исторически и которое оно должно иметь концептуально), в качестве примера того, как конкретно сформировалась и действовала коллективная воля, которая — по крайней мере, в ее некоторых аспектах — была создана ex novo изначально. И необходимо, чтобы коллективная воля, так же как и политическая воля вообще, получила свое современное определение; воля как активное сознание исторической необходимости, как протагонист подлинной, реальной

исторической драмы.

* * *

Один из первых разделов в «Современном Государе» следовало бы посвятить именно «коллективной воле», поставив в нем вопрос: «Когда можно утверждать, что существуют условия, при которых способна пробудиться и развиться коллективная национально-народная воля?» Необходим, таким образом, исторический (экономический) анализ социальной структуры данной страны, а также «драматическое» изображение веками предпринимавшихся попыток пробудить эту волю и выяснение причин их постоянных неудач. Почему в Италии во времена Макиавелли не было абсолютной монархии? Надо дойти вплоть до Римской империи (вопросов языка, интеллигенции и т.д.), выяснить роль средневековых коммун, значение католицизма и т.д. — словом, следует создать очерк всей итальянской истории, сжатый, но четкий.

Причину неудачи всех много раз предпринимавшихся попыток создать коллективную национально-народную волю следует искать в существовании определенных общественных групп, сформировавшихся в результате разло-

жения буржуазии коммун, в особом характере всех прочих групп, отражающих международную роль Италии как местопребывания Церкви и изначального хранителя Священной Римской империи и т.д. Эта роль и вытекающая из нее позиция определяют внутреннюю ситуацию, которую можно назвать «экономико-корпоративной», то есть в политическом отношении худшей формой феодального общества, формой наименее прогрессивной и наиболее застойной: при ней всегда отсутствовала и не могла сложиться сила по-настоящему якобинская, та самая сила, которая в других странах пробудила и организовала коллективную национально-народную волю и основала современные государства. Существуют ли, наконец, условия для такой воли, иными словами, каковы нынешние отношения между такого рода условиями и противостоящими им силами? Такими силами традиционно являлись земельная аристократия и вообще земельная собственность во всей совокупности, с ее характерно итальянской чертой — особой сельской буржуазией, паразитическим наследием, доставшимся современности после классового разложения коммунальной буржуазии (сто городов, города безмолвия).

Позитивные условия следует искать в существовании социальных городских групп, соответственно развившихся в сфере промышленного производства и достигших определенного уровня историко-политической культуры. Всякое формирование коллективной, национально-народной воли оказывается невозможным без того, чтобы большие массы обрабатывающих землю крестьян не вторгались также и в политическую жизнь. К этому стремился Макиавелли посредством реформы ополчения, это сделали якобинцы во время Французской революции, в понимании этого надо видеть опередившее свое время якобинство Макиавелли, зародыш (более или менее плодотворный) его концепции национальной революции. Весь ход истории после 1815 года обнаруживает усилия традиционных классов помешать формированию такого рода коллективной воли, дабы сохранить «экономико-корпоративную» власть в международной системе пассивного равновесия.

Важный раздел в «Современном Государе» должен быть посвящен вопросу нравственной и интеллектуальной реформы, то есть вопросу религии и мировоззрения. В этой области мы тоже обнаруживаем традиционное отсутствие

якобинства и боязнь якобинства (последнее философское выражение этой боязни — мальтузиантская позиция Кроче по отношению к религии). Современный Государь по необходимости должен быть глашатаем и организатором моральной и интеллектуальной реформы, что будет означать создание почвы для последующего развития коллективной национально-народной воли, ведущего к осуществлению более высокой и всеобщей формы современной цивилизации.

Вот эти два основных положения — формирование коллективной национально-народной воли, организатором и вместе с тем активным, действенным выражением которой является Государь, и нравственная и интеллектуальная реформа — должны были бы образовать структуру всей книги. Конкретные пункты программы следует включить в первую часть, то есть они должны «драматически» вытекать из изложения, а не превращаться в сухое и педантичное перечисление доводов и выводов.

Возможна ли культурная реформа, а следовательно, подъем гражданственности угнетенных слоев общества без предшествующей экономической реформы и изменения их положения в социальной и экономической жизни? Вот почему

моральная и интеллектуальная реформа не может не быть связана с программой экономической реформы, более того, программа экономической реформы является тем самым конкретным способом, каким реализует себя всякая нравственная и интеллектуальная реформа. Современный Государь, развиваясь, опрокидывает всю систему нравственных и интеллектуальных отношений, поскольку его развитие означает, что каждое действие начинает рассматриваться как полезное или вредное, как доброе или злое только в зависимости от того, как оно соотносится с Государем, служит ли оно упрочению его власти или оказывает ей сопротивление.

Государь занимает в сознании место божества или категорического императива, он становится основой современного мирского сознания, предпосылкой полной секуляризации всей жизни, всех свойственных ей обычаев и нравов.

Принципы политики

Следует отметить, что та постановка вопроса о политике, которая была предложена Макиавелли (а именно заложенная в его сочинениях идея о том, что политика является самостоятельной,

самодовлеющей деятельностью со своими собственными принципами и законами, отличными от принципов и законов морали и религии, имеет огромное философское значение, ибо она внутренне предполагает новое понимание морали и религии, то есть меняет все миропонимание), до сих пор оспаривается и отвергается, не сделавшись «общим мнением». Но что это означает? Значит ли это только то, что нравственная и интеллектуальная революция, элементы которой содержались in nuce в идеях Макиавелли, все еще не произошла, не стала общепринятой и очевидной формой национальной культуры? Или же это имеет чисто политический смысл и служит указанием на разрыв, существующий между правителями и управляемыми, указанием на то, что существуют две культуры — культура правителей и культура управляемых; что господствующий класс в лице церкви занял по отношению к простым людям двойственную позицию, продиктованную необходимостью, с одной стороны, не отрываться от них, а с другой — поддерживать в широких массах убеждение, что Макиавелли — не кто иной, как порождение дьявола?

Таким образом, встает вопрос о значении, ко-

торое имел Макиавелли в свое время, и о целях, которые он преследовал, создавая свои книги, прежде всего «Государя». Учение Макиавелли не было в свое время чисто книжным, достоянием одиноких мыслителей; «Государь» не был сокровенной книгой, имевшей хождение только среди посвященных. Стиль Макиавелли — это никак не стиль тех систематических трактатов, которые сочинялись и в Средние века, и в пору гуманизма; это стиль человека действия, писателя, который хочет побудить к действию, это стиль партийного манифеста.

Моралистическое истолкование Макиавелли, предложенное Фосколо, несомненно, ошибочно; тем не менее это правда, что Макиавелли кое-что «разоблачал», а не просто теоретизировал, обобщая реальные факты. Но каковы были цели его разоблачений? Преследовал ли он моралистические или политические цели? Принято говорить, что правила, установленные Макиавелли для осуществления политической деятельности, «применяются, но не провозглашаются»; говорят, что великие политики начинают с проклятий Макиавелли, с объявления себя антимакиавеллистами именно для того, чтобы иметь возможность свято следовать его правилам, претворяя их в

жизнь. Не был ли Макиавелли никудышным макиавеллистом, одним из тех, кто знает «правила игры» и по глупости обучает им других, тогда как вульгарный макиавеллизм предписывает прямо противоположное?

Кроче[4] утверждал, что, будучи наукой, макиавеллизм служит в такой же мере реакционерам, как и демократам, подобно искусству фехтования, которое служит как порядочному человеку, так и разбойнику, как для того, чтобы защищать свою жизнь, так и для того, чтобы убивать, и что именно в этом смысле надо понимать суждение Фосколо. Однако такое утверждение Кроче истинно лишь в абстракции. Макиавелли сам отмечал, что то, о чем он пишет, всегда применялось и применяется на практике великими историческими деятелями; поэтому никак не возникает впечатление, будто он хочет поучать того, кому и без него все известно; весь стиль его — это не стиль беспристрастного научного исследования; кроме того, невозможно представить, чтобы он пришел к выдвинутым им положениям политической науки путем философских спекуляций, ибо в подобного рода специфической материи в

[4] Примечания: 4

Бенедетто Кроче (1866–1952) — итальянский философ, политик, историк. Представитель неогегельянства.

его времена такое выглядело бы едва ли не чудом, ведь даже сейчас положения эти вызывают споры и встречают возражения.

Поэтому можно предположить, что Макиавелли имел в виду «несведущего», что он стремился дать политическое воспитание «несведущему», политическое воспитание не негативное, формирующее ненавистника тирании, как то хотелось бы думать Фосколо, а позитивное, формирующее человека, которому приходится признавать необходимость применения известных средств — пусть даже таких, которые свойственны тиранам, — для достижения определенной цели. Тот, кто был рожден и выпестован в традициях правительственных сфер, тот почти автоматически приобретал характерные черты реалистического политика благодаря всему своему воспитанию, полученному в семейном кругу, где господствовали династические и правонаследные интересы. Так кто же тогда был «несведущим»?

Тогдашний революционный класс, «народ», итальянская «нация», городская демократия — можно утверждать, что Макиавелли стремится убедить эти силы в необходимости иметь «вождя», который знал бы, чего он хочет, и как достичь того, что он хочет, и принять этого «во-

ждя» с восторгом даже в том случае, если его действия придут в реальное или кажущееся противоречие с распространенной в то время идеологией, с религией. Такая политическая позиция Макиавелли вновь возникает в «философии практики»[5]. Снова обнаруживается необходимость стать «антимакиавеллистами», развивая теорию и практику политики, которая может послужить обеим борющимся сторонам, хотя предполагается, что в конечном итоге она послужит прежде всего стороне «несведущих», ибо считается, что именно она является прогрессивной силой истории и немедленно приведет к достижению важного результата, к расколу единства, основанного на традиционной идеологии, без крушения которой новая сила не смогла бы прийти к осознанию себя как независимого субъекта.

Макиавеллизм послужил улучшению технических приемов традиционной политики консервативных господствующих групп точно так же, как он послужил политике философии практики; это не должно скрывать от нас его существенно революционного характера, который

[5] Примечания: 5

«Философия практики» — здесь и далее иносказательное название марксизма в «Тюремных тетрадях» А. Грамши. — *Прим. ред.*

ощущается уже теперь и объясняет все проявления антимакиавеллизма.

* * *

Однако вопрос, который раньше всего следует поставить и разрешить в исследовании о Макиавелли, — это вопрос о политике как самостоятельной, самодовлеющей науке, то есть о том месте, которое политическая наука занимает или должна занимать в систематическом миропонимании (цельном и последовательном), в философии практики.

В каком смысле можно отождествлять политику и историю, а следовательно, всю жизнь и политику? Каким образом вся система надстроек может пониматься как различия политики, и, следовательно, каким образом оправдывается введение в философию практики понятия различия? Но можно ли говорить о диалектике различий, и как возможно толковать понятия цикличной связи между ступенями надстройки? Понятие — «исторический блок», то есть единство между природой и духом (базисом и надстройкой), единство различий и противоположностей.

Можно ли распространить критерий различия также и на базис? Как будет пониматься тогда

базис, как можно различать в системе общественных отношений такие элементы, как техника, труд, класс и т.д., понимаемые не «метафизически», а исторически? Критика позиции Кроче, который, преследуя полемические цели, утверждает, будто базис становится «скрытым богом», «ноуменом», противостоящим «видимости» надстройки. «Видимости» в метафорическом и в буквальном смысле.

В то же время концепция Кроче, концепция политики-страсти, исключает партии, ибо невозможно представить организованную и перманентную страсть: перманентная страсть есть состояние оргазма и судорог, обусловливающих полнейшую неспособность к действию. Она исключает партии и всякий заранее разработанный план действий. Между тем партии существуют, а планы действий разрабатываются, применяются и зачастую почти полностью осуществляются. Следовательно, в концепции Кроче имеется какой-то изъян. И не стоит говорить, что если партии и существуют, то это все равно не имеет большого «теоретического» значения, ибо с началом действия действующая партия перестает быть той партией, которой она была до этого. В какой-то мере это, может быть, и верно,

однако совпадений между этими двумя партиями так много, что можно утверждать: на самом деле речь идет об одном и том же организме.

Для того чтобы концепция была верна, она должна быть приложима также и к войне, а следовательно, объяснять факт существования постоянных армий, военных академий, офицерских корпусов. Война — тоже «страсть», крайне сильная и пылкая, она — момент политической жизни, продолжение в иных формах определенной политики. Таким образом, необходимо объяснить, как «страсть» может стать нравственным долгом, и долгом не морально-политическим, а этическим.

В связи с «политическими планами», связанными с партиями как с постоянными организациями, следует вспомнить о том, что говорил Мольтке о военных планах; а именно что они не могут быть заранее разработаны и приняты во всех деталях, что можно разработать только их центральное ядро и начертать общую схему, ибо конкретные частности военных действий будут в значительной мере зависеть от того, что предпримет противник. Страсть проявляется как раз в частностях, однако мне не кажется, что принцип Мольтке мог бы свидетельствовать в пользу

концепции Кроче. Во всяком случае, предстояло бы еще объяснить род «страсти» Генерального штаба, разработавшего план на ясную голову — трезво и «бесстрастно».

Крочеанская концепция страсти как момента политики сталкивается с серьезными трудностями при объяснении и оправдании существования таких постоянных политических институтов, как партии и, в еще большей мере, как национальные армии и генеральные штабы, поскольку невозможно помыслить постоянно организованную страсть, не превращающуюся в рациональность и взвешенное суждение, то есть уже в не страсть. Вот почему решение тут может состоять только в отождествлении политики и экономики. Политика является постоянным действием и порождает постоянные институты именно потому, что отождествляется с экономикой. Но она также и отличается от нее, а потому можно говорить отдельно об экономике и политике и можно говорить о «политической страсти» как о непосредственном импульсе к действию, возникающем на «постоянной и органичной почве» экономической жизни, но выходящем за ее пределы, когда она вводит в игру такие стремления и чаяния, в накаленной атмосфере которых са-

ми индивидуальные жизненные, человеческие расчеты подчиняются уже законам, в корне отличным от законов личной выгоды и т.д.

* * *

Наряду с достижениями современной «макиавеллистики», восходящими к Кроче, следует указать также на преувеличения и искажения, которые она вызвала к жизни. Так, например, стало принято слишком напирать на то, что Макиавелли-де был «политиком вообще», «ученым в политике», актуальным для каждого времени.

Макиавелли надо рассматривать главным образом как необходимое выражение своей эпохи и как человека, тесно связанного с условиями и требованиями своего времени, продиктованными: 1) внутренними распрями Флорентийской республики и специфической структурой государства, не сумевшего освободиться от коммунально-муниципальных пережитков, то есть от ставшей тормозом формы феодализма; 2) борьбой между итальянскими государствами за установление равновесия в пределах Италии, затрудняемого существованием панства и прочими феодальными, муниципалистическими пережитками, характерными для государственных форм города,

а не территориального государства; 3) борьбой более или менее солидарных между собой итальянских государств за европейское равновесие, то есть противоречиями между необходимостью внутриитальянского равновесия и потребностями европейских государств, борющихся за гегемонию.

На Макиавелли влияет пример Франции и Испании, которые добились прочного единства территориального государства; Макиавелли делает «эллиптическое сравнение» (если воспользоваться выражением Кроче) и выводит правила для сильного государства вообще и для итальянского в частности. Макиавелли — целиком и полностью человек своей эпохи; его политическая наука представляет философию времени, которое стремится к созданию абсолютных национальных монархий, политической форме, допускающей и облегчающей дальнейшее развитие буржуазных производительных сил. У Макиавелли можно обнаружить in nuce принцип разделения власти и парламентаризм (представительное правление): его «ярость» обращена против пережитков феодального мира, а не против прогрессивных сил. Государь должен положить конец феодальной анархии;

а это и делает Валентине в Романье, опираясь на производительные классы, на купечество и крестьян. Учитывая военно-диктаторский характер главы государства, который требуется в период борьбы за создание и укрепление новой власти, классовое указание, содержащееся в «Военном искусстве», надо понимать как имеющее силу также и для государственной структуры вообще: если городские классы хотят положить конец внутренним беспорядкам и внешней анархии, они должны опираться на крестьян как на народные массы, создав тем самым верную и надежную вооруженную силу, абсолютно отличную от наемных отрядов. Можно сказать, что у Макиавелли настолько надо всем доминирует собственно политическая концепция, что это вынуждает его делать ошибки военного характера: он думает исключительно о пехоте, массы которой можно мобилизовать с помощью политического действия, и потому отрицает значение артиллерии.

Руссо (в «Пролегоменах к Макиавелли») справедливо отмечает, что «Военное искусство» дополняет «Государя», но он не извлекает всех выводов из своего замечания. И в диалогах «О военном искусстве» Макиавелли тоже должен рассматриваться как политик, которому

пришлось заняться военным искусством; его односторонность (вместе с другими «курьезами» вроде теории фаланги, дававшими пищу для пошловатых анекдотов наподобие того, самого известного, который откопал Банделло) обусловлена тем, что не технические вопросы военного дела находились в центре его интересов и его идей — он занимался ими лишь настолько, насколько это требовалось для его политических построений. Но не только «Военное искусство» должно быть связано с «Государем», с ним надо связать и «Историю Флоренции», которая и должна послужить анализу реальных условий в Италии и в Европе, породивших насущные требования, содержащиеся в «Государе».

Из наиболее соответствующей эпохе концепции творчества Макиавелли вытекает, как нечто от нее производное, более историчная оценка так называемых «антимакиавеллистов», или, во всяком случае, наиболее «наивных» из них. На деле речь в данном случае идет вовсе не об антимакиавеллистах, а о политиках, выражавших требования своего времени, или же связанных с условиями, отличными от тех, которые воздействовали на Макиавелли. Типичного «антимакиавеллиста» такого рода, как мне ка-

жется, надо поискать в Жане Бодене (1530–1596), который в 1576 году был депутатом Генеральных Штатов от Блуа и побудил Третье сословие отказать королю в субсидиях, требуемых для ведения гражданской войны.

Во время гражданских войн во Франции Боден являлся представителем третьей партии, прозванной партией «политиков», которая выступала с позиций национальных интересов, то есть внутреннего классового равновесия, при котором гегемония принадлежала третьему сословию, осуществлявшему ее с помощью монарха. Мне представляется очевидным, что зачисление Бодена в разряд «антимакиавеллистов» явится абсолютно внешним и поверхностным решением вопроса. Боден основал политическую науку во Франции на почве более взрыхленной и сложной, чем та, которую Италия предоставила Макиавелли. Для Бодена речь идет не о создании единого территориального (национального) государства, то есть не о возврате к эпохе Людовика XI, а об уравновешивании общественных сил, борющихся в рамках такого государства, уже сильного и пустившего глубокие корни; не момент силы интересует Бодена, а консенсус. С Боденом возникает стремление к развитию

абсолютной монархии: третье сословие настолько сознает свою силу и достоинство, настолько хорошо понимает, что судьба абсолютной монархии связана с его судьбой и с его развитием, что ставит условия для своего согласия, выдвигает требования, пытается ограничить абсолютизм. Во Франции Макиавелли служил уже реакции, так как мог быть использован для оправдания идеи о том, что мир надобно навсегда оставить «в колыбели» (по выражению Бертрандо Спавенты), а потому по необходимости приходилось становиться «в политическом отношении» антимакиавеллистами.

* * *

Другой вопрос, который следует поставить и рассмотреть в связи с «Государем» Макиавелли, — это вопрос о «двойной перспективе» в политической деятельности и государственной жизни. Различные уровни, на которых может представать двойная перспектива, — от самых простейших до самых сложных, но которые, однако, теоретически возможно свести к двум основным уровням, соответствующим двойной природе макиавеллиева Кентавра, звериной и человеческой, — к силе и согласию, к авторитету

и гегемонии, к насилию и цивилизованности, к моменту индивидуальному и универсальному (к «Церкви» и «Государству»), к агитации и пропаганде, к тактике и стратегии и т.д.

Некоторые свели теорию «двойной перспективы» к чему-то пошлому и банальному — всего лишь к двум формам «непосредственности», которые, более или менее «сближаясь», механически следуют друг за другом. Однако может случиться так, что насколько первая «перспектива» будет элементарнейшей и самой что ни на есть «непосредственной», настолько вторая должна будет оказаться «далекой» (не во времени, но в плане диалектической связи), сложной, возвышенной; подобно тому, как в человеческой жизни — чем более отдельный индивидуум вынужден защищать свое непосредственное физическое существование, тем больше он опирается на все самые сложные и самые высокие идеи культуры и человечности, выдвигая именно их на первый план.

Несомненно, предвидеть — значит всего лишь ясно видеть настоящее и прошлое в их движении: ясно видеть, то есть четко определять основные и неизменные элементы прогресса. Но предполагать, будто существует чисто «объективное»

предвиденье, — полнейшая нелепость. Тот, кто выступает с предвиденьем будущего, на деле выступает с «программой», которая должна восторжествовать, и предвиденье как раз и оказывается элементом ее торжества. Это не значит, что предвиденье всегда должно быть волюнтаристским и произвольным или чисто тенденциозным. Напротив, можно даже утверждать, что только в той мере, в какой объективный аспект предвиденья связан с программой, этот его аспект приобретает объективность: 1) что только страсть обостряет ум и делает интуицию более ясной; 2) что так как действительность является результатом приложения человеческой воли к совокупности вещей (машиниста к машине), то устранение всякого волевого элемента или учитывание только включения посторонних воль как объективного элемента общей игры искажает самоё действительность. Только обладающий сильной волей находит необходимые элементы для реализации своей воли.

Поэтому полагать, будто определенное мировоззрение и миропонимание в самом себе содержит величайшую способность предвиденья, — значит допускать грубейшую и глупейшую ошибку. Конечно, мировоззрение внутренне

заложено во всяком предвиденье и потому, является ли оно бессвязным переплетением взятых с потолка мыслей или четким, последовательным видением мира, имеет немалое значение, но свое значение оно приобретает именно в голове человека, который высказывает предвиденье и вызывает его к жизни, используя для этого всю свою сильную волю. Это видно по предвиденьям, высказываемым так называемыми «беспристрастными» людьми: они изобилуют праздными догадками, мелочными подробностями, изящными предположениями. Только наличие у «провидца» программы, которую он намерен реализовать, вынуждает его придерживаться существенного, тех элементов, которые, поддаваясь «организации» и допуская, чтобы их направляли в ту или иную сторону, по сути дела, и являются теми единственными элементами, которые можно предвидеть. Это противоречит принятым взглядам на подобный вопрос. Принято считать, что всякий акт предвиденья предполагает установление законов столь же точных, как законы естественных наук. А так как подобных законов не существует в полагаемом абсолютном или механическом смысле, то не принимаются во внимание посторонние воли и

не «предвидятся» результаты их воздействия. В результате все строится на высосанной из пальца гипотезе, а не на почве реальной действительности.

«Чрезмерный» (а потому поверхностный и механистический) политический реализм зачастую приводит к утверждению, что государственный человек должен действовать только в сфере «наличных реальностей», интересуясь не тем, что «должно быть», а лишь тем, что «есть». Но это означало бы, что государственный человек не должен видеть ничего дальше собственного носа. Такого рода ошибка вынудила Паоло Тревеса увидеть «истинного политика» не в Макиавелли, а в Гвиччардини.

Необходимо проводить различия не только между «дипломатом» и «политиком», но также между политиком-ученым и политиком-практиком, активным политиком. Дипломат может действовать только в сфере наличной действительности, ибо его специфическая деятельность состоит не в том, чтобы создавать новые равновесия сил, а в том, чтобы сохранять существующее равновесие в определенных правовых границах. Точно так же и ученый, постольку, поскольку он является чистым ученым, не должен выходить за

пределы наличной действительности. Но Макиавелли не является чистым ученым; он человек партии, человек могучих страстей, активный политик, желающий создать новые соотношения сил, а потому он не может не интересоваться тем, что «должно быть», разумеется, понимаемым не моралистически. Поэтому вопрос не может ограничиваться этими рамками, он значительно более сложен: речь идет о том, чтобы выяснить, является ли «должное» актом произвола или необходимости, является ли оно конкретной волей или мечтой, желанием, витающей в облаках любовью. Активный политик — это творец, побудитель к действиям, но он не творит из ничего, не трепыхается в мутной пустоте своих мечтаний и желаний. Он опирается на наличную действительность, но что такое эта наличная действительность? Не является ли она чем-то статичным и неподвижным, а вовсе не соотношением сил, находящихся в постоянном движении и постоянно нарушающих равновесие? Прилагать волю к созданию нового равновесия реально существующих и действующих сил, опираясь на ту определенную силу, которая считается прогрессивной, укрепляя ее во имя ее же победы, всегда значит действовать на почве наличной

действительности, но во имя господства над нею или преодоления ее (или способствовать этому). «Должное» является, следовательно, конкретностью, больше того, оно является реалистическим и историческим истолкованием действительности, единственной действительной историей и философией, единственной политикой.

Партии, государство, общество

Нужно подчеркнуть, что очень часто предают забвению как раз самые элементарные, самые простые понятия политики. Первое элементарное отношение в политике состоит в том, что в реальности-то существуют правители и управляемые, руководители и руководимые. Все искусство и вся наука политики построены на этом первичном факте, от которого никуда не уйдешь.

Если даже в одной и той же группе существует деление на управляющих и управляемых, то возникает необходимость установить определенные принципы этих отношений. Ведь именно в этой области совершаются наиболее грубые «ошибки», обнаруживаются самая преступная неспособность и наиболее трудные для исправления

просчеты. Считается, что раз цели этой группы изложены, то это должно автоматически обеспечить ей полную поддержку, и поэтому нет нужды отстаивать «необходимость» и разумность этих принципов. Более того, считается бесспорным (кое-кто убежден в этом и, что еще хуже, действует в соответствии с этим «убеждением»), что поддержка «придет», даже если не попросить о ней, даже если не намечен путь, по которому предстоит двигаться. Так, например, трудно избавиться от присущего руководителям убеждения в том, что дело будет осуществлено только потому, что руководитель считает справедливым и разумным, чтобы оно было осуществлено; если этого не происходит — возлагается «ответственность» на того, кто «должен был бы…» и т.д. Так же трудно вытравить преступные замашки — пренебрежение необходимостью избегать бесполезных жертв. В самом деле, всем известно, что провал коллективных (политических) действий происходит большей частью потому, что не пытаются избежать бесплодных жертв или не учитывают жертв других и играют чужими жизнями…

Если исходить из принципа, что существуют руководители и руководимые, правители и управляемые, то несомненно, что «партии» до

сих пор представляют собой самое удобное средство для подготовки руководителей и навыков руководства.

Следует обратить внимание на то, что там, где устанавливаются тоталитарные режимы, традиционная функция института верховной власти присваивается на деле определенной партией, которая является тоталитарной именно потому, что выполняет эту функцию. Хотя всякая партия является выразителем интересов социальной группы, и только одной определенной социальной группы, тем не менее определенные партии при известных условиях представляют интересы такой группы, поскольку они осуществляют равновесие и выполняют роль арбитра между интересами собственной группы и других социальных групп, а также заботятся о том, чтобы развитие представляемой ими группы шло при согласии и с помощью союзных ей социальных групп, если они не являются прямо, решительно враждебными ей группами. Конституционная формула, определяющая положение короля (или президента республики), — «царствует, но не управляет», — представляет собой юридически оформленное выражение этой арбитражной функции, выражение заботы конституционных

партий о том, чтобы не «разоблачать» корону или президента. Содержащееся в конституции положение о том, что глава государства не несет ответственности за действия правительства, и положение о министерской ответственности представляют собой казуистическое выражение общего принципа, состоящего в защите концепции государственного единства, концепции согласия управляемых с государственной деятельностью вне зависимости от того, кто входит в состав правительства и какая партия находится у власти.

При господстве тоталитарной партии эти конституционные положения теряют свое значение, и деятельность функционировавших в соответствии с ними институтов ослабевает. Однако выполнение этой функции арбитра берет на себя тоталитарная партия, превозносящая абстрактную концепцию «государства» и старающаяся различными способами создать впечатление того, будто функция «беспристрастной силы» осуществляется действенно и эффективно.

Можно отметить, что во многих странах современного мира органические, основные партии вследствие необходимости вести политическую борьбу или по другим соображениям разбиты

на фракции. Поэтому часто случается, что духовный генеральный штаб органической партии не принадлежит ни к одной из таких фракций, а действует так, как если бы он был самостоятельно существующей руководящей силой, стоящей над партиями; и подчас люди этому даже верят. Эту функцию можно очень точно изучить, если исходить из того, что газета (или ряд газет), журнал (или ряд журналов) являются «партиями» или «партийными фракциями» либо выполняют «функцию определенной партии».

В этой связи следовало бы поразмышлять над теми функциями, которые выполняет так называемая «информационная» и «аполитичная» и даже спортивная и техническая печать. Впрочем, это явление обнаруживает очень интересные черты в таких странах, где безраздельно господствует тоталитарная партия, ибо такая партия не выполняет больше чисто политических функций — она выполняет теперь только технические, пропагандистские и полицейские функции, а также функции нравственного и культурного воздействия. Политическая функция выполняется в таком случае косвенным путем, потому что если отсутствуют другие легальные партии, то всегда существуют некоторые фактические

партии и тенденции, которые нельзя подавить легальным путем; полемика и борьба против них напоминают игру в жмурки. Во всяком случае, несомненно одно, что в тоталитарных партиях преобладают культурные функции, а язык политики превращается в политический жаргон, то есть политические вопросы облекаются в культурные формы и как таковые становятся неразрешенными.

* * *

Существуют два типа «партии». Один тип ее может представлять собой элиту, деятелей культуры, «функции которых заключаются в том, чтобы с позиций культуры и общих идеологических принципов осуществлять руководство широким движением родственных между собой партий (которые являются в действительности фракциями одной и той же органической партии). Второй тип, появившийся в более близкий к нам период, представляет собой не элиту, а массовую партию, причем политическая роль массы заключается» только в том, что она должна (подобно армии) во всем следовать и доверять открытому или скрытому политическому центру (открытый политический центр часто является

механизмом управления в руках тех сил, которые стремятся остаться в тени и действуют косвенно, через посредников и через «посредническую идеологию»). Масса служит здесь попросту средством для «маневра», и ее «занимают» моральными наставлениями, сентиментальными внушениями, мессианскими мифами о наступлении легендарной эпохи, во время которой сами собой будут разрешены все бедствия, устранены все противоречия современности.

Вопрос о том, когда можно считать партию сформировавшейся, то есть имеющей ясную и постоянную цель, вызывает оживленную полемику и часто, к сожалению, порождает даже партийную спесь, не менее смешную и опасную, чем «национальная спесь», о которой писал Вико[6].

Трудно допустить, чтобы какая-либо политическая партия (представляющая господствующую группу, а также и подчиненные социальные группы) не выполняла также и полицейскую функцию, то есть функцию защиты определенного узаконенного политического порядка.

Показав это со всей отчетливостью, вопрос следует поставить по-другому, а именно как

[6] Примечания: 6

Джамбаттиста Вико (16681744) — итальянский философ, основоположник философии истории и этнической психологии.

вопрос о тех путях и о тех способах, с помощью которых осуществляется эта функция. Что лежит в ее основе — репрессии или убеждение, носит ли она реакционный или прогрессивный характер? Выполняет ли данная партия свою полицейскую функцию с целью сохранения порядка, который является внешним, чуждым живым силам истории и сковывает их развитие, или эти ее действия продиктованы стремлением поднять народ на новую ступень цивилизации, политическое и правовое устройство которой составляет ее программную цель?

В самом деле, закон находит тех, кто его нарушает, во-первых, среди реакционных социальных элементов, которых он лишил власти; во-вторых, среди прогрессивных элементов, которых закон подавляет; в-третьих, среди тех элементов, которые не достигли того уровня цивилизованности, который выражает закон. Поэтому выполняемая партией полицейская функция может быть прогрессивной и регрессивной: она прогрессивна, когда направлена на то, чтобы удерживать в рамках законности реакционные силы, отрешенные от власти, и поднять на уровень новой законности отсталые массы; она регрессивна, когда стремится подавить живые силы истории

и сохранить уже превзойденную, антиисторическую законность, ставшую чуждой массам. А в остальном отличительным критерием какой-либо партии служит характер ее деятельности: если партия является прогрессивной, она выполняет эту функцию «демократически»; если партия является регрессивной, она выполняет эту функцию «бюрократически». Во втором случае партия представляет собой простого нерассуждающего исполнителя, она является (в техническом отношении) полицейской организацией, и ее название — «политическая партия» — представляет собой простую метафору, носящую мифологический характер.

Цезаризм является отражением такой ситуации, когда борющиеся между собою силы находятся в состоянии катастрофического равновесия, то есть такого равновесия, при котором продолжение борьбы может иметь лишь один исход: взаимное уничтожение борющихся сил.

Цезаризм всегда служит выходом из историко-политической ситуации, характеризующейся таким равновесием сил, которое грозит завершиться катастрофой; этот выход принимает форму «арбитража», доверенного великой личности. Цезаризм прогрессивен, когда его вмешатель-

ство помогает восторжествовать прогрессивной силе — хотя бы и с помощью определенных компромиссов и условий, ограничивающих значение одержанной победы; цезаризм носит реакционный характер, когда его вмешательство помогает восторжествовать реакционной силе также с помощью компромиссов и ограничений, но имеющих в этом случае иной смысл, иную силу, иное значение. Цезарь и Наполеон I служат примерами прогрессивного цезаризма. Наполеон III и Бисмарк — цезаризма реакционного. Впрочем, цезаризм — это полемико-идеологическая формула… Обстоятельства могут привести к установлению цезаризма без Цезаря, без великой «героической» и представительной личности.

В современном мире явление цезаризма в общем носит особый характер. Тем не менее даже в современную эпоху для развития цезаризма имеется известное поле, более или менее широкое (в зависимости от характера страны и того места, которое она занимает в мировой структуре), потому что эта социальная форма «всегда» имеет потенциальные возможности для последующего развития и организационного оформления.

Она может особенно рассчитывать на относительную слабость противостоящей ей прогрес-

сивной силы, вытекающей из самой ее природы и особенностей ее существования, слабость, в сохранении которой эта социальная форма заинтересована; поэтому и говорят, что современный цезаризм носит скорее полицейский, а не военный характер.

Альбер Камю. Вождь с моралью уголовника (Из книги А. Камю «Бунтующий человек». Перевод Е. Головиной и М. Ваксмахера)

...Все перевороты нового времени приводили к укреплению государства. 1789 год влечет за собой Наполеона, 1848-й — Наполеона III, 1917-й — Сталина, итальянские волнения 20-х годов — Муссолини, Веймарская республика — Гитлера. И тем не менее, особенно после того как Первая мировая война разделалась с остатками «божественного права», устроители этих переворотов с все большей и большей уверенностью провозглашали своей целью созидание «града людей» и завоевание подлинной свободы. Всякий раз залогом этих амбиций было возрастающее могущество государства. Было бы неверно утверждать, что всего этого не могло не произойти. Но вполне возможно рассмотреть, каким образом оно произошло, и постараться извлечь из прошлого соответствующие уроки.

Наряду с незначительным количеством объ-

яснений, которые не укладываются в рамки настоящего исследования, непостижимое и ужасающее усиление современного государства может рассматриваться как логическое следствие его непомерных технических и философских амбиций, чуждых подлинному духу бунта, но тем не менее породивших революционный дух нашего времени. После того как с идеей «града божьего» было покончено, пророческие мечты Маркса и смелые провидения Гегеля или Ницше в конце концов привели к созданию нового типа государства, рационального или иррационального, но в обоих случаях террористического.

Строго говоря, фашистские перевороты XX века не заслуживают названия революций. Им не хватало универсальных притязаний. Разумеется, и Гитлер, и Муссолини стремились к созданию империй, а идеологи национал-социализма недвусмысленно высказывались о планах мирового господства. Их отличие от теоретиков классического революционного движения состояло в том, что они избрали и обоготворили иррациональную часть нигилистического наследия, отказавшись обожествить разум. И тем самым отреклись от универсальных притязаний. Это не помешало Муссолини ссылаться на

Гегеля, а Гитлеру считать своим предшественником Ницше, но не подлежит сомнению, что они воплотили в истории лишь некоторые из пророчеств немецкой идеологии. И в этом отношении они принадлежат истории бунта и нигилизма. Они первые построили государство, исходя из идеи, что ничто на свете не имеет смысла и что история — всего лишь случайное противоборство сил. Последствия не замедлили сказаться.

Начиная с 1914 года Муссолини прославлял «святую религию анархии» и провозглашал себя врагом всех разновидностей христианства. Что же касается Гитлера, то его официальная «религия» без колебаний совмещала в себе обоготворенную судьбу с божествами Валгаллы. На самом же деле его божествами были броские речи на митингах и овации по окончании этих речей. До тех самых пор, пока ему сопутствовал успех, он выдавал себя за боговдохновенную личность. А накануне разгрома заявил, что был предан своим собственным народом. В промежутке между двумя этими крайностями ничто не свидетельствовало о том, что он готов признать себя виновным в нарушении каких бы то ни было высших принципов. Эрнст Юнгер, единственный человек высокой культуры, придавший нациз-

му видимость философии, использовал в своих писаниях все те же нигилистические формулы: «Лучший ответ на предательство жизни духом — это предательство духа духом, и одна из величайших и мучительнейших радостей нашего времени состоит в том, чтобы участвовать в этой разрушительной работе».

Люди действия, пребывающие в безверии, никогда не доверяли ничему, кроме действия. Неразрешимый парадокс Гитлера в том и состоял, что он хотел основать стабильный порядок на основе беспрестанного действия и отрицания. Раушнинг был прав, когда в своей «Нигилистической революции» писал, что гитлеровский переворот был чистейшим воплощением динамизма. В Германии, до самых основ потрясенной беспрецедентной войной, разгромом и экономическим кризисом, ни единая ценность уже не внушала доверия. Нельзя сбрасывать со счетов изречение Гете, сказавшего, что «немцы стараются усложнить все на свете, такова уж их судьба», и все же эпидемия самоубийств, прокатившаяся по всей Германии между двумя войнами, лучше всего свидетельствует о духовном смятении той эпохи. Никакие рассуждения не способны вернуть веру людям, которые отчаялись во всем; это могут сде-

лать только страсти, в данном случае — те самые, что лежали в основе их отчаяния, то есть горечь унижения и ненависть. Не существовало больше истинных ценностей, признаваемых всеми этими людьми и в то же время возвышающихся над ними, во имя которых они могли бы судить друг друга. И вот в 1933 году Германия не только согласилась признать низкопробные ценности, принадлежавшие всего нескольким людям, но и попыталась навязать их целой цивилизации. За неимением морали Гете она избрала мораль уголовного мира и поплатилась за это.

* * *

Мораль уголовника — это бесконечное чередование побед, свершающихся местью, и поражений, порождающих отчаяние и злобу. Прославляя «стихийные порывы личности», Муссолини предвосхищал преклонения перед темными силами инстинкта и крови, биологическое оправдание всего наихудшего, к чему может привести слепая тяга к господству. На Нюрнбергском процессе Франк подчеркивал, что Гитлером руководила «ненависть ко всякой форме». И нельзя не признать, что этот человек был всего лишь проявлением силы, находящейся в постоянном

движении, — силы, подкрепленной расчетливой хитростью и безошибочным тактическим ясновидением. Даже сама телесная сущность Гитлера, посредственная и банальная, не ограничивала его страсть к движению, позволяя раствориться в человеческой массе. Лишь действие гарантировало ему стабильность. «Быть» значило для него «делать». Вот почему Гитлер и его режим не могли обходиться без врагов. Эти взбесившиеся денди нуждались в противниках, чтобы выявить свою суть; они обретали форму только в ожесточенной борьбе, которая привела их к гибели. Евреи, франкмасоны, плутократы, англосаксы, скотоподобные славяне — все эти образы врага один за другим мелькали в их пропаганде и истории, чтобы не дать сникнуть слепой силе, толкавшей их в пропасть. Бесконечная борьба требовала беспрестанных усилий.

Гитлер был воплощением истории в чистом виде. «Становление, — говорил Юнгер, — важнее жизни». Вот почему он проповедовал полное отождествление с потоком жизни на самом низком его уровне и вразрез с любой высшей реальностью. Режим, который изобрел биологическую внешнюю политику, попирал свои же собственные насущные интересы. Он повиновал-

ся своей, особой логике. Розенберг напыщенно сравнивал свою жизнь с поступью солдатской колонны: «Главное в том, что она марширует, а в каком направлении и с какой целью — это дело тридесятое». И не важно, что колонна эта оставит после себя руины, а потом опустошит и собственную страну, суть в том, что она все-таки маршировала. Истинная логика этого порыва заключалась либо в полном поражении, либо в бесконечных победах над все новыми и новыми врагами, победах, которые должны увенчаться созданием империи крови и действия. Маловероятно, что Гитлер, по крайней мере в начале своей карьеры, провидел эту империю. Не только по своей духовной культуре, но даже по тактическому чутью или инстинкту он не был на высоте своей судьбы. Германия потерпела крах, потому что развязала всемирную бойню, руководствуясь при этом местечковым политическим мышлением. Но тот же Юнгер уловил эту логику, дал ей определение. Ему мерещилась «всемирная техническая империя», «религия антихристианской техники», чьими послушниками и воинами должны стать рабочие, поскольку рабочий (и в этом он смыкается с Марксом) по сути своей универсален. «На смену общественному дого-

вору придут уставы нового порядка. Рабочий будет отторгнут от сферы торговли, благотворительности и литературы и вознесен в сферу деяний. Юридические обязанности превратятся в воинскую присягу». Империя, как это явствует из вышеприведенной цитаты, должна была стать полузаводом-полуказармой всемирного масштаба, царством раба, принявшего обличье работника-солдата, о котором писал Гегель. Гитлер относительно рано был остановлен на пути, ведущем к этой империи. Но если бы даже он продвинулся по нему гораздо дальше, дело ограничилось бы все возрастающим размахом неукротимого динамизма и ужесточением тех циничных принципов, на которых он мог покоиться.

Говоря о такого рода «революции», Раушнинг подчеркивал, что здесь уже не может идти речь об освобождении, справедливости и духовном взлете, а лишь «о гибели свободы, о власти насилия и духовном рабстве». В самом деле, фашизм — это прежде всего презрение. И стало быть, всякая форма презрения, примешанная к политике, подготавливает фашизм или помогает ему восторжествовать. Необходимо добавить, что он и не мог быть ничем иным, не отрекшись от самого

себя. Исходя из своих собственных постулатов, Юнгер пришел к выводу, что лучше быть преступником, чем благонамеренным обывателем. Гитлер, наделенный меньшим литературным талантом, но отличавшийся — по крайней мере, в данном пункте — большей последовательностью, понимал, что человеку, верящему только в свой успех, совершенно безразлично, кем он является: преступником или обывателем. И сам был одновременно и тем, и другим. «Дело — это все», — говорил Муссолини. А Гитлер развивал эту мысль так: «Когда расе грозит опасность порабощения… вопрос о законности может играть только второстепенную роль». Оно и понятно: раса просто не может существовать, не испытывая угрозы со стороны, о каком уж тут равенстве может идти речь.

«Я готов подписаться под чем угодно, — продолжал Гитлер, — сегодня я могу без всякой задней мысли ратифицировать любое соглашение, но, если завтра на карту будет поставлено будущее немецкого народа, я хладнокровно порву его». Однако перед тем как развязать войну, фюрер заявил своим генералам, что у победителя не будут спрашивать, лгал ли он или говорил правду. Лейтмотив защиты Геринга на Нюрнбергском

процессе сводился именно к этой, отнюдь не бесспорной идее: «Победитель всегда будет судьей, а побежденный — обвиняемым». Но тогда непонятна позиция Розенберга, заявившего на том же процессе: «Я не мог предвидеть, что нацистский миф ведет к массовым убийствам». Когда английский обвинитель заметил, что «Майн кампф» — это прямая дорога к газовым камерам Майданека, он коснулся главной темы процесса, темы исторической ответственности западного нигилизма, единственной, которая по вполне понятным причинам не была по-настоящему затронута в Нюрнберге. Невозможно построить процесс на тотальном обвинении целой Цивилизации. Поэтому были осуждены только преступные деяния, к отмщению за которые взывала вся земля.

* * *

Как бы там ни было, Гитлер пустил в ход вечный двигатель завоевания и захвата, без которого он сам остался бы ничем. Но вечные поиски врага предполагают вечный террор — теперь уже на государственном уровне. Государство отождествляется с «аппаратом», т.е. с совокупностью механизмов завоевания и подавления. Завое-

вание, обращенное внутрь страны, называется пропагандой («первый шаг к преисподней», по выражению Франка) или репрессией. Направленное вовне, оно порождает военную экспансию. Таким образом, все государственные проблемы милитаризируются, переводятся в область насилия. Начальник генерального штаба определяет не только внешнюю политику, но и основные вопросы внутреннего управления. Этот принцип, неоспоримый в военной сфере, распространяется и на гражданское население. Формула «Один вождь, один народ» на деле означает «Один хозяин, миллионы рабов». Политические посредники, в любом обществе являющиеся гарантами свободы, исчезают, уступая место Иегове в солдатских сапогах, царящему над толпой, которая либо безмолвствует, либо — что не меняет сути дела — выкрикивает навязанные ей лозунги. Общение вождя с народом осуществляется не с помощью органов примирения и посредничества, а с помощью партии, пресловутого «аппарата», который является эманацией вождя и орудием его воли, направленной на угнетение. Так рождается первый и единственный принцип этой низкопробной мистики, восстанавливающий в нигилистическом мире идолопоклонство и

выродившееся священство.

Латинский юрист Муссолини довольствовался идеей всеобъемлющей значимости государства, которую он посредством риторических ухищрений возвел в абсолют. «Ничего вне государства, над государством, вопреки государству. Все посредством государства, ради государства, в государстве». Гитлеровская Германия облекла эту ложную идею в соответствующую словесную формулу, по сути своей религиозную. «Наше божественное предназначение, — писала одна нацистская газета во время партийного съезда, — состоит в том, чтобы вернуть каждого к истокам, в царство Матерей. Это воистину богоугодное дело». Под «истоками», по всей видимости, нужно понимать вой первобытной орды. Но о каком боге идет здесь речь? Просветить нас на сей счет может одно из официальных заявлений партии: «Все мы верим в Адольфа Гитлера, нашего фюрера… и признаем, что национал-социализм — это единственная вера, ведущая наш народ к спасению». Законом и моралью в таком случае становятся заповеди вождя, звучащие с Синайских высот, уставленных трибунами, украшенных флагами и озаренных прожекторами, заменяющими пламя неопалимой купины. И достаточно всего

один раз прокричать в микрофон преступный приказ, чтобы он от начальника к подчиненному докатился до последнего раба, который только получает приказания, но никому их не отдает. А потом какой-нибудь угодивший за решетку палач из Дахау начинает плакаться: «Я был всего лишь исполнителем приказов. Все это затеяли фюрер и рейхсфюрер. Кальтенбруннер спускал приказы Глюку, тот пересылал их дальше, а отдуваться за них всех приходится мне, ведь я простой хауптшарфюрер, у меня под командой никого нет. Я только исполнял приказы о расстреле, а теперь они твердят, что я — убийца». Геринг на процессе оправдывался своей верностью фюреру и тем, что «в этой проклятой жизни еще существуют понятия о чести». Честь для него состояла в слепом повиновении, которое зачастую было тождественно преступлению. Военные законы карают за неповиновение смертной казнью, а воинская честь равносильна рабству. Когда все население страны приравнено к военным, преступником оказывается тот, кто отказывается убивать по приказу.

А приказы, к сожалению, весьма редко требуют творить добро. Динамизм, облеченный в форму доктрины, не может быть направлен на благо, он

стремится лишь к эффективности. До тех пор, пока у него есть враги, он будет раздувать террор, а враги у него будут до тех пор, пока он существует, ибо они непременное условие его существования: «Любые замыслы, могущие подорвать суверенитет народа, обеспечиваемый фюрером при поддержке партии, должны решительно пресекаться». Враги — это еретики, их нужно либо обращать в истинную веру посредством проповеди, то бишь пропаганды, либо истреблять с помощью инквизиции, то есть гестапо. В результате человек как таковой исчезает: будучи членом партии, он превращается в орудие фюрера, становится простым винтиком «аппарата»; будучи врагом фюрера, он подлежит перемалыванию между жерновами того же «аппарата».

* * *

Нигилистическая революция, исторически воплотившаяся в гитлеровской религии, привела только к бешеному всплеску небытия, в конце концов обратившемуся против себя самого. Вопреки Гегелю, отрицание, по крайней мере на сей раз, не было созидательным. Гитлер являет собой, быть может, единственный в истории пример тирана, не оставившего после себя ничего поло-

жительного. Для своего народа и для всего мира он пребудет лишь воплощением истребления и самоистребления. Семь миллионов замученных евреев, семь миллионов лиц других национальностей Европы, убитых или отправленных в лагеря смерти, десять миллионов погибших на войне — всего этого, быть может, и не хватило бы истории, для того чтобы осудить Гитлера, — ей не привыкать к убийцам. Но его отказ от последнего своего оправдания, то есть от немецкого народа, превращает этого человека, долгие годы наводившего ужас на миллионы людей, в пустую и жалкую тень.

Из показаний Шпеера на Нюрнбергском процессе явствует, что, отказавшись прекратить войну, не доводя ее до тотальной катастрофы, Гитлер обрек немецкий народ на самоубийство, а германское государство — на материальный и политический разгром. Единственной его целью до конца оставался триумф. Поскольку Германия проигрывала войну, поскольку она оказалась страной трусов и предателей, она заслуживала гибели. «Если немецкий народ не способен победить, он недостоин жить».

И в то время когда русские пушки уже крушили стены берлинских дворцов, Гитлер решил увлечь

его за собою в могилу, превратив собственное самоубийство в мрачный апофеоз. Гитлер и Геринг, Геббельс, Гиммлер и Лей, надеявшиеся, что их останки будут покоиться в мраморных саркофагах, покончили с собой в подземных укрытиях или тюремных камерах. Но их смерть была лишена смысла, она напоминала дурной сон или дым, развеянный по ветру. Не будучи ни жертвенной, ни героической, она лишь выявляла кровавую пустоту нигилизма. «Они мнили себя свободными, — истерически вопил Франк, — но разве они не знали, что от гитлеризма не освободишься!» Да, они не знали ни этого, ни того, что всеобщее отрицание равносильно рабству и что истинная свобода — это внутреннее подчинение истине, которая противостоит истории со всеми ее «триумфами».

Теодор Адорно. «Вождь говорит…» (Из книги «Исследование авторитарной личности». Перевод М. Попова, М. Кондратенко)

Введение

Для фашистского фюрера характерна склонность к болтливым заявлениям о собственной персоне. Либеральные и леворадикальные пропагандисты, напротив, склонны к тому, чтобы ради «объективных» интересов, к которым они апеллируют, избегать намеков на частную жизнь: либерал — чтобы продемонстрировать деловитость и компетенцию, левый радикал — чтобы не подвергать сомнению свою коллективистскую позицию. В то время как такая «обезличенность» по праву обоснована в объективных условиях индустриального общества, то в отношении публики оратора она проявляет явные слабости. Отрыв от собственного Я, как того требует любая объективная дискуссия, предполагает наличие интеллектуальной свободы и силы, которые вряд ли имеются среди масс современных людей. Кроме того, «холодность», присущая объективной

аргументации, усиливает чувство отчаяния и одиночества, из-за которых страдает, в принципе, каждый индивид и которых он стремится избежать, когда слушает публичные речи.

Фашисты это поняли, их язык личностен. Он не только затрагивает непосредственные интересы своих последователей, но и включает часто персональную сферу оратора, который, как кажется, доверяется своему слушателю и преодолевает пропасть между людьми.

Однако имеются еще более специфические причины для применения этого метода, который, даже если он часто подпитывается тщеславием вождя, хорошо рассчитан и, несмотря на очевидный «субъективизм», является частью весьма объективной системы пропагандистской практики. Чем безличнее наш общественный порядок, тем более значимым становится индивидуализм как идеология. Чем энергичнее отдельный человек низводится до простого колесика в механизме, тем настойчивее должна быть подчеркнута, как компенсация за его бессилие, идея его неповторимости, автономии и значимости. Так как это может произойти не в индивидуальной, а в достаточно общей и абстрактной форме, то оно выполняется заместителем фюрера. В этом

часть тайны тотального вождизма, его свиты — создать перед глазами последователей картину независимого характера, иметь который в действительности им не дано.

Далее, самопропаганда вождя фашистов — это своего рода трюк доверия. Хотя иногда он и восхваляет себя, а в решающие моменты может даже обманывать, он предпочитает, особенно пока не достиг решающей власти, оставлять в стороне тему своей непреодолимой силы. Он заверяет, что он «такой же человек», т.е. такой же слабый, как и его будущие сторонники. Самой по себе идеи силы и авторитета недостаточно, чтобы объяснить силу притяжения фашистских главарей, а скорее важно представление, что слабый может стать сильным, если он пожертвует свою жизнь «движению», «делу», «крестовому походу» или еще чему-то. С амбивалентной ссылкой на собственную личность, как одновременно человеческую и сверхчеловеческую, слабую и сильную, близкую и далекую, он дает модель для установки, которую он хочет закрепить среди своих слушателей.

Признания, правдивые или лицемерные, выполняют, кроме того, цель удовлетворить любопытство публики — универсальный признак

сегодняшнего массового общества. Его структура еще недостаточно исследована; частично причина этого состоит в широко распространенном чувстве «быть проинформированным», чтобы поддерживать беседу, частично во мнении, что жизнь других богатая, волнующая и пестрая по сравнению с собственными мучениями. Может быть, в основе его лежит атрибут шпиона, глубоко укоренившийся в подсознании, который требует наслаждения тем, что можно заглянуть в частную жизнь соседа. Такое поведение отвечает сущности фашиста, он знает, что не важно, каким образом это любопытство удовлетворяется. Разоблачения коррупции или краж, в которых замешаны противники, обсуждения болезни его жены или его финансовых трудностей, которые, может быть, даже выдуманы, действуют с одинаковой силой. Как практикующий психолог он разбирается немного в способе функционирования амбивалентных чувств, даже если он объявляет психоанализ еврейской фальшивкой. Если со слушателем обращаются как с посвященным в тайну, то его либидо удовлетворяется, не важно, направляется ли его любопытство на положительные или отрицательные представления.

Он хорошо осведомлен о манипуляции собственного Я для пропагандистских целей, и он ловко приспособил технику разоблачения и признания, используемую Гитлером, для американской арены действия и к эмоциональным потребностям своей публики, пожилым и старым гражданам нижнего слоя среднего класса с их сильной верой в Библию и сектантским фоном. Мы приводим несколько примеров манеры говорить о самом себе.

Трюк «Одинокий волк»

Трюк «одинокого волка» идет из арсенала Гитлера, который постоянно похвалялся своими семью одинокими и героическими товарищами по партии, основавшими движение, и который якобы мог рассчитывать только на самого себя, в то время как другие имели в своем распоряжении прессу и радио.

Наряду с выпячиванием собственной смелости и собственной безупречности трюк «одинокого волка», чтобы завоевать доверие тех, кто чувствует себя одиноким и обделенным, таит в себе скрытый расчет успокоить всеобщий и постоянно растущий страх перед манипуляцией. Он

возникает как результат сопротивления бойкому продавцу и заключается в полусознательной вере, что каждое публично произнесенное слово не имеет объективного значения, не представляет собой личного убеждения говорящего, а является пропагандой в широком смысле, которая служит интересам какой-то группы, оплачивающей это.

Причина этого представления — экономическая централизация и монополизация средств коммуникации. Заявление: «За мной не стоят никакие деньги никакого политика», — сводится к утверждению, что собственные рассуждения спонтанны и ими не управляет какая-либо монополистическая организация. Однако это отношение к манипуляции и психологическую функцию данного трюка нельзя упрощать. В современных социальных условиях люди не только боятся манипуляции, но они, наоборот, ощущают потребность в ней и в руководстве тех, кто считает себя сильными и способными защищать их. Иерархическая природа нашей экономической организации усиливает желание быть объектом манипулирования и самому оставаться бездеятельным. Кроме того, начинает стираться граница между «объективной констатацией» и пропагандистскими трюками.

Чем сильнее концентрация власти в интересах групп и индивидов, которые овладели средствами коммуникации, тем в большей степени их пропаганда становится «правдой», поскольку она выражает действительную власть. В высшей степени показательно название министерства Геббельса «Министерством народного просвещения и пропаганды», — объективная правда, которую он якобы хочет дать народу, идентифицируется с пропагандистскими лозунгами партии.

Необходимо учитывать эту двусмысленность в отношении людей к манипуляции со стороны агитаторов, которые используют трюк «одинокий волк». Они не ожидают, что их речь будет воспринята серьезно, что, вероятно, никогда не имеет места. Играя с общим недоверием слушателей к манипуляции со стороны современных властей предержащих в сфере коммуникации и в политике партии, они внушают с помощью трюка «одинокий волк», что в действительности за ними стоит очень много, а именно действительные силы, которые работают против властей предержащих.

В современной фазе разжигание ненависти к монополизму является одним из средств уско-

рить победу тоталитаризма. Слушатель, который ежедневно слышит по радио, что оратор один и работает за свой собственный счет, верит, что общественные и официальные организации сегодня не на его стороне, а скорее являются потенциальными силами интегрированного коллектива и «тайным царством, которое должно прийти». Гражданами его станут те, которые достаточно рано присоединились к нему. Очернение манипуляции является одним из средств ее. Рафинированным образом людям внушают убеждение, что инициатива в их руках и в руках их образца — оратора.

Кажущаяся спонтанность речей агитаторов поднимается до уровня идеологии, чем в большей степени они ее лишаются.

Трюк «Освобождения от чувств»

Оратор подчеркивает симулированную спонтанность и неманипулированную индивидуальность посредством совершенно осознанного и настоятельного подчеркивания чувств. Это становится составной частью его техники и не только выставляется на всеобщий обзор, но также и рекомендуется. Именно отказ от достоинства

является, очевидно, самым действенным стимулом фашистской пропаганды. Гитлер постоянно прибегал к демонстративным истерическим вспышкам, и одно из его любимых выражений гласило: «Я бы скорее убил себя, чем…».

Это модель поведения, которую его слушатели должны принять и которой они должны подражать. Они не должны себя вести цивилизованным образом, они должны кричать, жестикулировать, дать выход своим чувствам. Чем больше оратор срывает барьеры самообладания со своих слушателей, тем легче они подчиняются его воле, послушно следуя за ним, куда он пожелает.

То, что фашизм живет за счет недостатка эмоционального удовлетворения в промышленном обществе и что он дает людям то иррациональное удовлетворение, которое они не получают из-за сегодняшних социальных и экономических отношений, это часто подчеркивается, и это утверждение прежде всего подтверждается трюком «освобождения чувств». Но эта манипуляция, по сути, противоположна «освобождению», которое она вызывает. Более того, фашистская пропаганда ради своих собственных целей не доходит до корней эмоционального вытеснения

в нашем обществе, а способствует в большей степени смятению чувств посредством слова. Она не дает ни чистого удовольствия, ни чистой радости; она только освобождает от сознания собственного несчастья и способствует регрессивному удовлетворению благодаря растворению Я в обществе. Эмоциональное облегчение, которое дает фашизм, является лишь простой заменой исполнения желаний.

При этом подключение проявления чувств — отнюдь не только искусственный прием, рассчитанный на зрителей. Оно предполагает у них определенную склонность, и ловкость пользующегося успехом агитатора в действительности же состоит в том, чтобы обнаружить диспозиции, которые он может использовать в качестве приманки для своих целей. Для желания избежать трудности самообладания публика должна иметь сильную «базу», поэтому следует создать о ней соответствующее представление. Она сама по себе является следствием процесса рационализации, от которого люди хотели бы освободиться. Они хотят «перестать сопротивляться», перестать быть индивидами в традиционном смысле, как самосохраняющаяся и самоопределяющаяся единица. Сила держать себя в узде отражает

силу конкурировать с другими и определять собственную экономическую и духовную судьбу. Сегодня, когда эта независимость все больше и больше уходит, начинает исчезать и самообладание. Огромные общественные силы, действию которых подчинен каждый индивид, не только вынуждают его подчиниться им экономически, когда он предпочитает лучше стать служащим, чем остаться самосохраняющейся социальной единицей, но и психологически, так как он может переносить их социальное и культурное насилие, если это становится его собственным делом. Он должен поступать скорее адекватно конформистски, чем как единый, закрытый характер. Он становится не только жестче, поскольку он все больше учится думать прагматически, но и уступчивее, поскольку уменьшается его сопротивление давлению социального мира и промышленной технологии. Чем больше он перестает быть Я, «самим собой», тем в меньшей степени он готов и способен соответствовать требованиям самообладания. Истерия — это экстремальное выражение психологической структуры, которая быстро распространяется во всем обществе. Это является той особой склонностью, которую имеет в виду трюк «освобождение

чувств». Он осмеивает стоицизм, так как люди не могут и не хотят больше быть стоиками, так как компенсация за самодисциплину — окрепшее и уверенное существование — более не действует.

Эффект трюка — не столько преодолеть выявленные реакции, сколько сделать их общественно приемлемыми, отменить уже шатающееся табу и дать людям чувство, что они поступают социально правильно, если отбрасывают свое самообладание.

Трюк «Преследуемая невинность»

Выбор личных качеств, которыми, как утверждает оратор, он обладает прямо или косвенно, приобретает значение только благодаря противопоставлению их тем качествам, отсутствие которых бросается в глаза. Например, он подчеркивает по старым шаблонам избирательной пропаганды свою чистоту и честность, намекает на свое призвание вождя, но никогда не упоминает свои особые таланты для выполнения довольно запутанной задачи, над которой он работает, свое политическое становление, свои знания и какие-либо определенные черты, которые могли бы характеризовать его как поли-

тического вождя.

Сочетание саморекламы и неясных намеков на свою личность имеет особое значение. Пусть даже он рассчитывает на широко распространенную антипатию к профессиональным политикам и экспертам, которая основывается на закоренелом, неосознанном сопротивлении имеющемуся разделению труда, вождю нужна непрозрачность его имиджа, чтобы возбудить фантазию слушателей. Он кажется похожим на пустую раму, которую они должны заполнить самыми противоречивыми представлениями, будь то благожелательный и гуманный священнослужитель, или отважный солдат, или чрезвычайно чувствительное человеческое существо, или лукавый практичный человек, или проницательный наблюдатель, знающий все сомнительные подоплеки конфиденциальных историй, или чистый дух, взывающий в пустыне.

Непроницаемость его личности в сочетании с неясностью его политических целей является средством интеграции. Оба эти элемента служат тому, чтобы объединить самых различных слушателей, которые следуют за ним тем более слепо, чем меньше его знают, кто он и за что он выступает.

Трюк «преследуемая невинность» выполняет двойную функцию. Во-первых, он должен интерпретировать опасность, угрожающую вождю, как опасность, угрожающую всем, и скрывать агрессивность под маской самозащиты. С тех пор как Цезарь напал на полудиких галлов со своей хорошо обученной армией и объявил свою захватническую войну как неизбежную и необходимую меру, военная агрессия постоянно стала называться защитой. Фашизм с его внутренним родством со всеми империалистическими видами поведения впервые приспособил этот прием для внутриполитических целей, даже для создания идеологий отдельных акций. Однако его механизм включает более скрытые психологические побочные явления. Он не назван буквально, более того, он должен быть стимулом к насилию. Как показал психоанализ, агрессивные садистские наклонности, к которым апеллирует фашистская пропаганда, не различают однозначно жертву и нападающего. Оба понятия, которые возникли в фазе развития общества, когда дифференциация субъекта и объекта, Я и внешнего мира еще четко не закрепилась, до определенной степени взаимозаменяемы психологически.

Значение понятия самопожертвования в фа-

шистской пропаганде делает эту двойственность еще более четкой. В конце концов, подобная заменяемость позволяет обвинить намеченную жертву как раз в таком преступлении, которое хотел совершить сам.

Трюк «Неутомимость»

Когда оратор говорит об исповедуемой им честности, самоотверженности, верности любимому делу, он редко забывает упомянуть еще и о своей неутомимости. Он читает сотни писем в день, тратит свою полезную энергию, из-за постоянного напряжения он рано поседел, он жертвует собой и работает несравнимо больше, чем его слушатели.

Неутомимость — это психологическое выражение тоталитаризма. Спокойствия не может быть, пока все не завоевано, не охвачено и не организовано. А так как этой цели никогда невозможно достичь, то здесь требуются бесконечные усилия сторонников.

Призывая к неутомимости, агитатор, однако, не хочет вызвать у сторонников состояние полного «бодрствования», осознанности и ясности. Само собой разумеется, он желает, чтобы они

были деятельными и готовыми к действиям, но как бы под чарами. Название «массовый психоз» содержит для фашистов долю этой правды, хотя оно недооценивает часто в высшей степени рациональный элемент, т.е. надежду последователей на материальную выгоду и улучшение их социального статуса. Достоверно все-таки можно сказать: в большей степени это активность загипнотизированных, являющаяся целью фашистской пропаганды, а не активность осознающих ответственность и думающих индивидов. Поэтому настоящий призыв к неутомимости действует как наркотик. Именно так, поскольку последователи должны некоторым образом впасть в сон и действовать во сне. Им постоянно приказывают быть бдительными и не спать.

Из внешне амбивалентного состояния между сном и неутомимостью агитатор извлекает пользу. Кто должен спать, в то время как ему внушают, что он должен быть неутомимым, что он и есть неутомимый, тот будет меньше сопротивляться воле вождя. Внушают, что ему сделали прививку против заразной, угрожающей здоровью болезни.

Человеческий интерес

Мотивом трюка «человеческий интерес» является контингент аудитории, которая большей частью состоит из пожилых, немного одиноких, разочарованных людей, и прежде всего слушательниц женского пола. По хорошо показавшему себя образцу, типа ключевых фигур в женских журналах с их чрезвычайной силой притяжения, оратор симулирует личное тепло, близость и доверие.

Он выступает в некоторой степени как простой философ, по-народному добродушный, скромный человек с золотым сердцем, который думает прежде всего о своем близком, несет ему облегчение и помогает то в одном, то в другом. Он притворно проявляет «искреннее» участие в домашних делах своих слушателей. Всегда есть больные, страдающие люди и люди, живущие в унизительных условиях; всем им он выражает свою симпатию.

Картина, скрывающаяся за трюком «человеческий интерес», — это идеал традиционалистических, антилиберальных бедняков, которые вопреки убогости своего существования доволь-

ны и готовы пожертвовать собой для сохранения именно тех условий, из-за которых они страдают, испытывая в качестве вознаграждения сомнительное удовольствие от неопределенного внутреннего превосходства над богатыми и недовольными.

По существу, вся наигранная личная поза вождя состоит в подчеркивании частного элемента, сходства между ним и его слушателями, в подчеркивании всей сферы интересов как своего рода эмоциональной компенсации за холодную, самоотчуждающую жизнь большинства людей и прежде всего бесчисленного количества изолированных индивидов нижнего уровня среднего сословия. Именно благодаря непосредственности и теплоте общения, теплоте его способа приблизиться к людям, он глубже и прочнее овладевает ими. Не солидарность, а послушание являются заменой их изоляции и одиночества.

Устарелые, как бы докапиталистические формы человеческой эйфории он противопоставляет современным условиям жизни, чтобы препарировать их для трансформации в нечто более прогрессивное, тоталитарное государство фюрера. Фальшивый индивидуализм, который он проповедует, лишь усиливает тенденцию

отказаться от индивидуума, в то время как он вливается в коллектив, где может чувствовать себя «защищенным», но не имеет права вообще что-либо сказать.

Понятие жертвы

...Невозможно понять заявления вождя о его политической цели, так как они являются отрицательным аспектом его высказываний. Он определяет цель как озабоченность предстоящей «регенерацией» мира. Его цель в действительности не столько торжество конкретной, специфической идеи, сколько коллективная имитация, заразительный экстаз. Он становится конкретным только тогда, когда речь идет о деньгах или об организационных вопросах, когда он говорит о своих противниках и о якобы грозящей опасности, но никогда о позитивной идее.

Перемещение акцента с целей и средств — одна из аксиом логики манипулирования — кончается лозунгом: «Мы можем продемонстрировать миру, что есть патриоты, богобоязненные мужчины и женщины, которые готовы пожертвовать свою жизнь делу Бога, Родины и Отечества». При этом конкретная цель по-прежнему расплывчатая —

остается только отрицательное понятие жертвы, которую он может предложить в конце.

Так как ему нечего доказывать, не надо стремиться делать настоящие выводы путем анализа подаваемого материала, то и не приводится никакая действительная аргументация. Когда он для вида что-то доказывает, он в действительности хочет только усилить те общие предрассудки, которые удобны для его планов. Все решено еще до того, как начинается аргументация.

Голая идентификация, просто классификация — это и есть логический процесс. Весь ассортимент ценностей, также самых сомнительных, рассматривается как определенный заранее. Оратор направляет все свои усилия на идентификацию группы лиц, рас, деноминаций или, что еще может быть, с помощью застывших понятий своей системы отношений, и даже в этом процессе идентификации он ни разу не старается подтвердить правильность принадлежности какого-либо явления к этим псевдологическим классам. Он подпитывается предрассудками и усиливает их, подводя их под высокопарные категории, такие как силы зла, фарисеи или битва под Армагеддоном.

Он рассчитывает на слушателей, которые

не могут думать, не способны обеспечивать длительный процесс дедукции, по-видимому, интеллектуально живут, так сказать, от момента к моменту и реагируют в меньшей степени на консистентные мыслительные структуры, чем на изолированные, логически не связанные рассуждения. Репродуцируя в своих речах расплывчатый процесс мышления, ограниченный голыми ассоциациями, «внутренним» монологом, он дает людям, не способным мыслить, приятную возможность почувствовать себя разумным человеком. Он подсовывает беспочвенные фантазии в качестве рационального процесса.

«Слушайтесь своего вождя»

Азбучная истина, заключающаяся в том, что авторитарная пропаганда делает все, чтобы создавать авторитарные идеи, сама по себе не является признаком фашизма. Другие идеологии, особенно религиозные и феодально-консервативные, во все времена превращали понятие авторитета в свою тему. Новым в пропаганде авторитета является то, что антидемократия не может больше ссылаться на авторитеты, которые, как церковь, считаются достоверными благодаря сверхъесте-

ственным откровениям, или обоснованными вездесущей традицией вроде «легитимной» идеи феодального авторитета и до определенной степени даже монархизма. Современный авторитаризм стоит перед проблемой, появившейся впервые еще во времена французской реставрации в произведениях таких реакционеров, как Бональд и де Мейстр. Фашизм должен был бы пытаться оправдать авторитаризм как одну из присущих современному обществу тенденций, и при этом он должен быть готов к суждению, противоположному идее авторитарности, и должен предстать как раз перед теми массами, которые он хочет подчинить себе посредством авторитета. Эта почти неразрешимая задача, если она вообще должна быть предпринята с какой-либо надеждой на успех, то потребует определенной уловки и искажения фактов.

Большинство видов техники по рациональной и «демократической» защите слепого авторитета, зачастую разоблаченные, избиты. Типичным является описанный в исследовании Кафлина (Институт анализа пропаганды) трюк «трансфер», переносящий хорошо обоснованный, популярный авторитет веры в идеи или лица на тезис, который фашист хочет переодеть в одежды сла-

вы авторитета. В равной степени это относится и к известному трюку «грузовик с оркестром», который должен завлекать людей в движение, обманывая их, что якобы многие уже присоединились.

Самое характерное средство обосновать авторитет путем пропаганды квазирациональным путем, не прибегая к традиционно признанным институтам, — это подхватить авторитарный термин и сделать его фетишем. А. Сандерс описывает этот трюк под заголовком «магические слова». Образцом представляется персонификация всех тоталитарных режимов через дуче, фюрера или через иного лидера.

Термин «фюрер» действительно является характерным и выражает претензию на непререкаемый авторитет, требование «следовать» фюреру, не ссылаясь на традиционный титул династии. В этом отношении пропагандистский инстинкт Гитлера был настолько ярко выраженным, что он после смерти Гинденбурга даже не принял титул рейхспрезидента, а назвал себя фюрером всего немецкого народа. Фюрер — это тот, кого нужно слепо слушаться и воле которого надо подчиняться из-за его собственных, всесторонне чтимых заслуг. Его психологический статус

парадоксален: иррациональную преданность последователей он связывает с рациональной претензией, что он действительно особенно подходит для этой задачи и должен быть признан ими лучшим.

Тут нужно принять во внимание два факта. Во-первых, в различных государствах концентрация экономического могущества достигла такой ступени, что те, кто обладает этим могуществом, действительно осуществляют то, что в «рациональном» индустриальном обществе сводится к абсолютному авторитету. Тогда потенциальная сила населения становится заметной, поскольку авторитарные фюреры вынуждены тем, над кем они властвуют, доказывать каким-либо образом свою полезность. Этот факт приводит к парадоксальному в представлении фюрера как абсолютного, но в то же время «ответственного» авторитета. Общественный конфликт, стоящий за этим толкованием, придает принципу фюрера внутреннюю силу, который из-за присущей ей логической непоследовательности является относительно неуязвимым. Хотя авторитет, без сомнения, включает в себя реакционные элементы, идолопоклонство в слове «фюрер» является не просто возвратом к варварским привычкам

мышления, но оказывается результатом позднего индустриального общества, на что, по крайней мере, нужно указать.

Между индустриальной рациональностью и магическим идолопоклонством посредником выступает реклама. Техника конкуренции выработала тенденцию придавать магическую силу рекламным текстам, в сопровождении которых продаются товары, и усиливать эту магию слов благодаря беспрестанному и постоянному, рационально спланированному повторению, притупляющему, однако, осознанную силу суждения будущих клиентов.

Важным моментом в этом процессе является то, что покупатели, чувствующие за постоянно повторяющимися словами сконцентрированную силу, проявляют определенную готовность к послушанию, которое приводит к тому, что разрывается связь между собственными интересами и действительной пользой товара. В конце концов, они придают продукту определенную ценность «самому по себе», волшебную силу фетиша. Этот механизм повсюду в современном процессе торговли настолько автоматизирован, что его можно перенести без труда с помощью простой техники рекламы в область политики.

«Методы продажи идеи» не сильно отличаются от методов продажи мыла или какого-либо безалкогольного напитка.

При социально-психологическом рассмотрении магический характер слова «фюрер» и вместе с ним харизма фюрера являются не чем иным, как очарованием текстами рекламы продаж товаров, которые заимствовали слуги непосредственной политической власти.

Экскурс в технику «Fait accompli»

Как нам кажется, такие хорошо известные приемы, как прием снабжать собственную систему трюков идеями устоявшихся авторитетов, или призыв «грузовика с оркестром» («два миллиона покупателей не могут заблуждаться»), или такие определенные понятия, как «вождь», которые делаются фетишем, — это только специальные случаи широко распространенного метода, лежащего в основе любой фашистской пропаганды, по крайней мере в этой стране. Его можно назвать техникой «fait accompli», и состоит он в том, чтобы рассматривать спорные вопросы как уже решенные.

Это предшествующее решение подсовывается

массам, защищающим точку зрения оратора или личного (официального) авторитета, от которого он получает свой престиж, или, по крайней мере, какого-то четко очерченного представителя верхов из области идей, что должно быть переведено в практические, технические термины.

Некоторые причины для этой техники ясны. Во-первых, требуется меньше независимости и нравственной смелости, чтобы вступить в партию, которая находится на пути к победе; это преимущество весьма ценно в ситуации, когда агитатор должен считаться с огромным числом людей, которые, живя в условиях, делающих их полностью зависимыми от более сильных, не хотят идти ни на какой риск. С другой стороны, вера, что дело уже решено, заставляет считать любое сопротивление безнадежным предприятием.

Само собой разумеется, техника «fait accompli», которая часто принимает бессмысленные и обманчивые формы, едва ли могла бы функционировать, если бы у нее не было базы не только в психологии масс, но и в реальной действительности. Современный экономический порядок имеет действительно широкую тенденцию часто делать людей объектами процессов, которые они нередко не понимают и на которые они

никаким образом не влияют. Жизнь, из которой исчезают самостоятельное экономическое предпринимательство и инициатива, является для них в меньшей степени жизнью, определяемой собственной свободной волей, а превращается в нечто, что идет наперекор им, с этого момента их жизнь заранее предрешена.

Если появляется организация, которая создает впечатление, что ее постоянно поддерживают определенные силы, и которая что-то обещает своим последователям, то многие охотно и по своей воле поменяли бы неясное положение быть просто объектами на членство в таком движении, ведь таким образом они могут поменять проклятую мысль о полной зависимости на активную позицию, на веру в то, что отказом от собственной воли они подключатся к организации, победа которой предрешена.

Техника «fait accompli» затрагивает центральный механизм фашистской психологии масс: трансформация чувства бессилия в чувство власти. Чувство бессилия воплощается в подозрении, что исход уже решен, причем ты сам в этом никак не участвовал, однако потом ощущаешь, что таинственным и иррациональным образом появляется чувство силы, когда «перебегаешь»

к уже узаконенному победителю. Самой важной задачей контрпропаганды было бы, может быть, вмешаться в этот механизм и решительно объяснить массам, что признание в слабости, полный отказ от себя никогда не приведет к настоящей силе и социальному возрождению. Однако не только фашистская пропаганда манипулирует этим механизмом, он запускается в ход повсюду в современной массовой культуре, прежде всего в кино. Если его использует фашистский агитатор, он может положиться на процессы, которые в определенной степени уже автоматизированы. Даже по виду самый безвредный комик кино в состоянии с этой точки зрения, не осознавая того, содействовать этим пагубным целям господства произвола.

Между тем этот механизм, как кажется, включает в себя элемент, связанный с еще более глубокими психологическими процессами и образующий, может быть, платформу осязаемых эффектов. Здесь мы можем намекнуть на это в довольно общем виде; наблюдается весьма распространенная тенденция в современном обществе принимать существующее, то, что есть, и даже этим восхищаться. Во времена просвещения дух позитивизма в самом широком смысле

разрушил магические и «сверхъестественные» идеи посредством конфронтации с эмпирической действительностью.

Понятие фактического повсюду в современной истории духа оказалось сильнее, чем какая-либо метафизическая сущность. Однако историческое превосходство является лишь одним из многих других моментов; мы говорим здесь лишь о выживании магических психологических черт после отмены метафизических идей, о чудовищном насилии сегодняшней высокоорганизованной социальной жизни над индивидуумом и непрозрачности, даже иррациональности самого существующего порядка. Все это способствовало тому, что фактическое было окружено как раз тем ореолом, против которого первоначально создавали идею фактического. Даже религия широко и неосознанно была вытеснена очень абстрактным, но сверхмогучим культом существующего. Доказательством того, что что-то существует, считается, что оно сильнее и поэтому лучше, чем то, что не существует. Что бы ни называли философским дарвинизмом, он пронизывает каждый уголок современной психологии в такой мере, которая едва ли может быть переоценена.

Техника «fait accompli» эксплуатирует это поло-

жение. Придавая всему, что реклама хвалит и что люди желают иметь, качество существующего, она имеет тенденцию делать это объектом восхищения парней-подростков, которые мечтают о машинах и самолетах. Чем упорнее существующее представляется в терминах техники рационального и применяемого, тем сильнее восхищение.

Мысль, что существующее широко оправдывает самое себя, ведет назад к исходному пункту наших рассуждений о трюке фюрера, к констатации, что понятие «фюрер», лишенное всякого оправдания, рационально или традиционно принимается и прославляется. Культ фюрера основывается, как мы показали, не только на предпосылке, что власть уполномочивает фюрера, но и, наверно, на том, что само существование фюреров, подтвержденное историей, является достаточным основанием для узаконивания их. Здесь фашистская пропаганда глубоко связана с основными чертами современной антропологии культуры. С ней можно более чем с эфемерным успехом бороться только тогда, когда в нашем сегодняшнем порядке окончательно преодолеется очарование существующим в его основе. Иррациональность фашистского воодушевления

идеей осуществленных фактов в общем и идеей устойчивого вождизма в частности — это только последнее следствие идеи здравого человеческого смысла, что ничего нет более успешного, чем сам успех. Только если опровергнуто кажущееся благоразумие таких идей, можно опровергнуть также и абсурдность фашизма.

Трюк единства

Один из самых успешных лозунгов национал-социалистов был направлен против якобы бесчисленных партий в Германии. Отсутствие внутреннего единства они считали причиной кризисов в Веймарской республике, особенно ее неспособность в последние годы создать здоровое большинство в парламенте. Этот немецкий трюк оправдывал себя даже за границей, где часто утверждали, что демократия едва ли могла бы функционировать при наличии 20–30 партий. С самого начала эта идея основывалась на лжи, большинство якобы вредных партий никогда не играло решающей роли, и никогда их не было больше 6–7, которые еще имели какое-то значение.

Единство как таковое объявляется идеалом,

вождь проклинает отсутствие единства в обществе, особенно в политической и религиозной жизни, и восхваляет единство как единственную надежду на спасение от постоянно грозящей анархии. С другой стороны, собственная организация якобы олицетворяет такое единство или, по крайней мере, стремится к нему, несмотря на все свои характеристики как партии.

Такая пропаганда проявляет одну из самых глубинных основных черт фашизма: нечто чрезвычайно ограниченное и частное выдавать за тотальное (всеобщее), за целостность, общность. Он извлекает выгоду из постоянно присутствующего чувства, что в современном обществе нет настоящей солидарности, направляет его в сферу очень специфических интересов, которые являются антагонистическими по отношению к такой солидарности, т.е. представляет интересы своего шантажа.

Единство здесь является не чем иным, как фантазией, идеалом обширной организации тех «настоящих людей», которые разделяют его репрессивные интересы.

Демократическая маска

Обычно вождь говорит, что он противник любой формы диктатуры, но если он ее критикует, то слышится, по крайней мере, нотка восхищения ее успехами. Он оставляет слушателей под общим впечатлением, что движение по направлению к диктатуре является неизбежным, и единственный выход — слушаться своего собственного авторитета. Авторитаризм подчиняется только авторитету…

Хотя и при демократии можно принимать решения на основе большинства, но большинство является не моральной ценностью, а формальным принципом управления. Некоторые особенности населения, которые можно приписать общественным недемократическим процессам и которые по своему духу антидемократичны, могут, таким образом, трактоваться и распространяться в демократии как последний аргумент только потому, что они являются характеристиками большинства. Это — одна из слабостей, которые иногда позволяют фашизму мобилизовать массы для репрессивных целей вопреки их действительным интересам.

«Если бы вы только знали»

Трюк «если бы вы только знали» — это внушение таинственных опасностей, о которых знает только оратор, простой же человек почти не может себе и представить их; они слишком неприличны, чтобы их обсуждать публично.

Намеки на будущее, на то время, когда станут известными факты, на которые теперь только намекают, или намеки на конечный день расплаты вызывают любопытство и искушают толпу примкнуть к движению либо, по крайней мере, читать публикации в надежде когда-нибудь быть «посвященными в тайну», если они просто делают то, о чем говорит и пишет агитатор.

Простой интерес к тому, что люди узнают о будущем, создает своего рода эмоциональную связь между агитатором и слушателем. Этот механизм повсюду применяется в рекламе и является невинным поверхностным аспектом техники намека.

Привлекательность намека растет вместе с его неясностью. Она позволяет безудержно разыгрываться фантазии и возбуждает различного рода спекуляции, которые постоянно усиливаются,

потому что массы сегодня, так как они чувствуют себя объектом общественного развития, хотели бы охотно знать, что разыгрывается за кулисами. К тому же они склонны превращать анонимные процессы, в которые вовлечены, в личностные понятия заговоров и путчей злых сил, тайных международных организаций и т.п.

Техника намека основывается на распространенном в современной массовой культуре невротическом любопытстве: каждый изолированный индивид мечтает о том, чтобы узнать больше, чем просто о скрытых силах, от которых зависит собственное существование, мрачную и жуткую сторону жизни других, в которой он не участвует.

Это положение помогает превратить технику намека в нечто отнюдь не невинное. Ее опасный аспект состоит прежде всего в иррациональном возрастании престижа и авторитета оратора. Предположение о том, что ты что-то понимаешь, что не может быть свободно высказано, так сказать, подмигивание, предполагает своего рода согласие посвященного, имеющее тенденцию к тому, чтобы сделать оратора и слушателя соучастниками. Подтекст этого согласия остается всегда угрожающим. Намеренно невысказан-

ное — это не только знание о чем-то слишком ужасном, чтобы быть высказанным открыто, но и ужасное, которое сам хотел бы совершить, но в этом не признаешься, а выражаешь лишь через намек. Трюк «если бы вы только знали» обещает открыть тайну тем, кто присоединится к шантажу и заплатит свою «десятину», но оратор намекает и на обещание, что вступившие станут однажды участниками ночи длинных ножей, утопии шантажа.

Кроме того, метод намека является угрозой для всех тех, кто исключен из этого «шепота», кто якобы не знает, «что я имею в виду».

Трюк «Грязное белье»

Обязательным добавлением к намеку является настоящее или воображаемое разоблачение. Чтобы понять психологическое значение этой техники, нужно рассмотреть пропагандистские разоблачения в отношении их особого содержания. Оно исходит в большинстве случаев из среды болтунов и хулителей и касается обычно растрат, коррупции или секса.

Психологические реакции, вызываемые трюком «грязное белье», можно сравнить с опре-

деленным поведением, которое наблюдается у многих людей, когда они ощущают плохой запах. Очень часто они не отворачиваются, а жадно вдыхают испорченный воздух, обнюхивают вонь, и в то время как они жалуются на его спертость, делают вид, что они его идентифицируют. Не обязательно быть психоаналитиком, чтобы предположить, что эти люди неосознанно наслаждаются плохим запахом. Очень похоже обстоит дело с притягательной силой скандальных историй. Негодования по поводу возмутительного события являются в большинстве случаев необоснованными умствованиями. В действительности слушатель забавляется их описанием, и, по-видимому, таинственные и запрещенные деяния, разоблачением которых он возмущенно наслаждается, как раз и являются тем, чем бы он сам с удовольствием занимался.

Этот механизм стал в такой степени автоматическим, что лишь из простого акта разоблачения (не важно, что разоблачается) уже возникает удовлетворение. Разоблачение само по себе воспринимается как выполнение обещания и приобретает почти торжественный характер, который может быть окрашен религиозными воспоминаниями.

В этом состоит объяснение одного из самых странных явлений трюка «грязное белье»: удивительное несоответствие между объективным весом сообщенных фактов и психологическим влиянием, которое они приобретают. Слушатель обобщает случаи, которые могут иметь место при любой политической системе, в то время как рассматривает их как типичные для демократии, особенно из-за ее «плутократической» природы. Он возмущается фактами, при ближайшем рассмотрении оказывающимися весьма невинными или однозначно относящимися к частной жизни, в которую никто не имеет морального права вмешиваться. Так, в последние годы Веймарской республики огромную роль в нацистской пропаганде сыграла шуба берлинского бургомистра, который получил ее якобы как взятку. Хотя владение шубой едва ли может считаться роскошью, но важным было само разоблачение, а не факт.

Любовь к проветриванию «грязного белья» больше характерна для реакционеров, чем для прогрессивных людей. Для этого, вероятно, имеются различные причины: тенденция сваливать социальные проблемы на частную ответственность, общее репрессивное настроение, которое склонно замарать любого, радующегося жизни,

вместо того чтобы доказать свою деловитость, а также утонченная спекуляция на определенных инстинктах разочарованных масс.

Те, кто не хочет изменения условий, всегда готовы свалить вину за любое зло на тех, кто не придерживается существующих моральных норм. Лицемерие — это привилегия конформизма.

Трюк «Содрогание от ужаса»

Трюк «грязное белье» связывается постоянно с тенденцией терроризировать слушателей. Люди реагируют на страх и объединяются, чтобы встретить опасность, — это ее внешний эффект; ее неосознанный, грубо говоря, эффект заключается в том, что описание зверств доставляет им удовольствие, потому что они сами однажды захотят их совершить. Радость от жестокости и радость от грязи тесно связаны друг с другом.

Обещание, которое имплицирует пропаганда террора, — это скорее обещание разрушения самого по себе, что ведет к некоторой модификации нашего тезиса об амбивалентности. Может, это было бы слишком логично предположить, что ужасы будут обязательно те же, которые ты хотел

бы совершить по отношению к слабым, хотя этот импульс, конечно, играет большую роль. Однако не менее садистского развит и мазохистский компонент. Будущий фашист, вероятно, после своего собственного уничтожения будет желать не в меньшей степени и уничтожения противника, так как разрушение — э то эрзац его самых сокровенных и наиболее подавляемых желаний.

Постоянные указания фашистов на жертву или некоторые высказывания Гитлера подтверждают это; Раушнинг ссылался на него, когда тот сказал, что если Гитлер потеряет Рагнарек, то наступит гибель Богов. Возможно, здесь неосознанно выражается проницательность фашистов в отношении окончательной безнадежности предпринятых ими действий. Они видят, что их решение не является решением, что оно в конце концов обречено на гибель. Каждый трезвый наблюдатель мог ощутить это чувство в национал-социалистической Германии, до того как разразилась война. Безнадежность идет путем отчаяния; уничтожение — это психологический эрзац для тысячелетнего рейха в день, когда исчезнет разница между Я и другим, между бедным и богатым, сильным и слабым в большом нерасчлененном единстве. Если массам не предложат

настоящую надежду на солидарность, они могут ухватиться в своем страхе за этот отрицательный суррогат.

Трюк «Последний час»

Очередной формой техники террора является прямое или косвенное утверждение, что предстоит близкая катастрофа, ситуация безнадежна и достигла критической отметки и что необходимо немедленное изменение. «Думающие мужчины и женщины во всей стране спешно поднялись, так как они знают, что дела не могут идти дальше так, как они шли до того».

На первый взгляд это напоминает обычные рекламные шаблоны: «Это предложение действует в течение нескольких дней». Публику побуждают действовать быстро, немедленно присоединяться к движению. За этим стоит простое соображение, что люди легко забывают то, что они не сделают тотчас же. Особенно быстро вытесняются террористические стимулы, которые всегда имеют весьма нерадостные побочные значения. Пропаганда террора действует только «немедленно».

Однако это затрагивает феномен лишь поверхностно. Намек на приближающуюся беду, прежде

всего на мировую катастрофу, намного старше, чем индустриальное общество. Ее корни лежат в апокалиптическом аспекте христианской религии.

Кроме того, следующее положение, вероятно, является попыткой объяснения иррационального привеска, который добавляется к идее кризиса: оратор рассчитывает на последователей, которые до глубины души недовольны и даже испытывают нужду. Их объективная ситуация может превратить их даже в радикальных революционеров. Предотвратить это и направить революционные течения в собственное мыслительное русло — одна из главных задач фашистского агитатора. Чтобы достичь цели, он крадет, так сказать, понятие революции. Снова привлекается идея катастрофы, используется эрзац судьбоносного момента, предрекаются радикальные перемены. При этом никто не способен заглянуть, что будет после конца света; также и катастрофа — это скорее что-то такое, что случается с людьми и едва ли может быть реализовано посредством их собственной свободной воли. Лишенные своей спонтанности, люди превращаются в свидетелей больших всемирно-исторических событий, которые решаются над их

головами, их собственная энергия абсорбируется посредством верности организации и любви к фюреру.

В психоанализе много раз отмечалось, что невротическое чувство слабости часто выражается в своеобразной позиции по отношению к элементу времени. Чем меньше человек способен к действиям по собственной воле, тем вероятнее, что он абстрактно ожидает все от времени. «Не может так долго продолжаться».

Трюк «последний час» основывается на этой диспозиции. Гарантом приближающейся перемены делается время, и «последователь» освобожден от собственной ответственности. Ему нужно только делать то, чего требует «час». Представление этого часа как последнего часа связывает этот трюк с техникой «fait accompli».

Трюк «Черная рука» (тайное судилище)

Как дополнение к трюку «единство» трюк «черная рука» является средством интегрировать различные элементы репрессивной и эксклюзивной организации. Ее исключительность может только сохраняться, когда члены, среди которых

все время поддерживается состояние взаимного недоверия, следят и шпионят друг за другом.

Репрессивное единство имеет своим результатом подавление всех непрофессиональных видов деятельности, которые непосредственно контролируют правительство и партия. Если заговорщики стремятся образовать компактную группу, они должны, что касается их убеждений, быть полностью изолированными друг от друга. Фашистский шантаж является чистой пародией на то «народное сообщество», быть которым он так стремится на словах. Фашистские последователи завистливее и недоверчивее, чем другие, и готовы в большей степени даже, чем самые крутые соперники, «ликвидировать» друг друга. Разъяснение этого было бы правильным ответом на трюк «человеческий интерес».

Самая роковая импликация трюка «черная рука» касается между тем одной из глубоких внутренних характеристик бандитизма и фашизма. Оба можно определить как тип организаций, из которых нет пути назад. Жертва отдельного для сообщества, как это было уже рассмотрено и как проявляется в постулате невозможности отмены, в клятве, символике крови, ритуалах посвящения и так далее, означает полную отдачу

душой и телом, без ограничений и оговорок. Желание выйти из принудительного сообщества — это начальный жест, который выражает стремление к свободе; нет ничего более ужасного для фашиста, чем такое желание.

Кто передумал, кто хочет опять «наружу», рассматривается как «заклятый враг», и не важно, насколько порядочен он и каковы были побудительные причины: перемена убеждения характеризуется как предательство и требует строгого наказания.

«Давайте будем практичными!»

Этот лозунг имел влияние на всех реакционных теоретиков со времен Гоббса. Он следует как тень за всеми высокопарными идеологиями современного века.

Рационализм, который авторитарный вождь выставляет на всеобщий обзор в планах и в организации своей группы, в каждом пункте приходит в противоречие с застывшей иррациональностью его религиозного учения. Существует бездна между его высказыванием о практическом здравом человеческом разуме и официальной идеологией, которая, по крайней мере, показы-

вает неосознанное бессилие его идеалов и их собственную лживость.

Идеалы должны завуалировать прежде всего его желание власти и его административные манипуляции и заклеймить противников как морально стоящих ниже его. Напротив, высказывания, в которых он говорит о практических и трезвых вещах, доказывают слушателям, что их вождь является человеком со здоровым человеческим умом, таким же, как и они сами, но также и то, что им важно: организация, власть конкуренции и светский успех.

«Прагматический» трюк получил новое значение в явно идеалистических вопросах. Раньше он, вероятно, был средством для целей религиозного обращения и более или менее истинного воскрешения. Сегодня обращение и воскрешение стали средствами пропаганды с целью сделать народ практичным, т.е. побудить его к отказу от любой собственной теоретической мысли, объединить его в команды и организации и заставить действовать в соответствии с его коллективными интересами вместо его рациональных убеждений. Существующая необходимость «иллюстрировать» каждое понятие его непосредственным практическим примене-

нием, которое часто ведет к выхолащиванию его истинного смысла, неспособность к абстракции, которая в современных условиях, наверное, скорее усилилась, чем ослабла, применяется как рычаг в пропагандистских целях. Идеал, который отождествляется непосредственно и бездумно с какой-либо практической мерой или отношением, теряет свой смысл как идеал и низводится до простого украшения ближайшего практического шага.

Однако это, собственно, то, к чему стремится вся фашистская пропаганда, — т.е. превратить сознание в не что иное, как идеологию, придающую привлекательность поступкам ради собственного интереса в чистом виде, которые совершает организация. Когда идеал дискредитируется, когда его превращают в понятие повседневной практической жизни, последователям втолковывают, что важна не идея, даже не намеренно расплывчато представленное дело, за которое она выступает, а в принципе только сама организация, т.е. аппарат власти и тот авторитет, который в конце концов решает, какие меры целесообразны.

Техника разложения

Одно из важнейших средств фашистского оратора — религия. Она придает ему колорит, типичный для его речей. Она — торговый знак, который отличает его от конкурентов. В качестве проповедника он может выступать как консультант, который хлопочет о специфических интересах определенной группы. Его система, сконструированная для сторонников ортодоксального, ханжеского, крайне религиозного мышления, имеет целью в принципе преобразовать благочестивое стремление в политическую приверженность партии и политическую подчиненность.

Религиозный антилиберализм служит прикрытием политическому антилиберализму, за который вождь не осмеливается выступать открыто, в то время как религиозный авторитет психологически выполняет функцию эрзаца авторитарной системы.

Трюк «Вера наших отцов»

Идею «веры наших отцов» можно назвать в основном антихристианской, так как христианство претендует на истину, и не на принятие ее через традиции: кто верит только потому, что это делали его предки, тот ни в коем случае не является верующим.

Патерналистский авторитет выполняет всегда свою функцию — не давать уклониться тем, вера которых в истину самой христианской догмы поколеблена. В конце концов, христианская вера насильно достигается светскими внешними средствами, контролем патриархальной семьи и в то же время воспринимается весьма респектабельно, смиренно и благочестиво.

Идеологическая обработка

Как уже говорилось, конкретное содержание речей вождя играет только побочную роль. Психологическое «размягчение» слушателей не дает ни единой политической программы, ни единой критики существующего общественно-полити-

ческого порядка.

То, что выступление оратора насквозь лишено настоящих теоретических положений, объясняется, во-первых, намерением быть «практичным», и, во-вторых, вероятнее всего, фактом, что у него нет никакой точной программы. Как большинство фашистских агитаторов, он, разумеется, руководствуется в меньшей степени политическими и социологическими рефлексиями, чем свойственным ему ярко выраженным чувством подражания пресловутым имеющим успех образцам авторитарных систем.

Такой псевдотеоретичный подход наблюдается со времен начала режима Муссолини; он, по-видимому, имеет прочное основание в структуре самих авторитарных систем и может объясняться не просто циничным релятивистским презрением стоящего у власти разнузданного политика к истине и ее манифестации в теории. Скорее, это можно приписать теории самой по себе, независимо от ее содержания.

Даже если она исходит из произвольных домыслов, сам факт последовательного когерентного и консистентного мышления получает определенную собственную значимость, определенную «объективность». Она делает в глазах фашиста

из теории проблематичное оружие, так как мышление само по себе отказывается быть только инструментом. Теория как таковая, рассмотрение автономных логических процессов, дает тем, на которых хочет оказать влияние фашист, некое чувство безопасности, разрешает им, так сказать, быть услышанными. Поэтому она, в основном для фашистов, является «табу». Его царство — это область бессвязных, неясных изолированных фактов, или, более того, форма их проявления. Чем изолированнее они приводятся, чем больше выбранные излюбленные темы привлекают внимание обоих — агитатора и слушателя, тем лучше для фашиста. Этим, по-видимому, объясняется малая сменяемость мотивов.

Оратор преследует цель найти мотивы, от манипуляции которыми он надеется получить немедленное эмоциональное эхо. Свои политические темы он выбирает с точки зрения их психологической значимости.

Что касается травли политических противников, психологическая атака относится в большей степени к их мифическому образу, который представляет собой смесь из эмоциональных восприятий и проекций психологических инстинктов. Образцом для такой травли служат,

например, отвратительные и малопонятные карикатуры на евреев, которые печатались в нацистском журнале «Штюрмер».

Позиция в отношении внешней политики

Особо следует сказать о технике оратора, когда он имеет дело с внешней политикой. Он обращается с нациями, как будто они индивиды, применяет непосредственно в отношении них моральные понятия и использует моральные дихотомии для разъяснения национальных политических вопросов.

Эта уловка, уступка способности его последователей думать в безличных терминах, имеет, несмотря на пророческое звучание, зловещий оттенок. Чем упорнее рассматриваются нации как индивиды вместо групп народов, тем основательнее превращаются люди в послушных членов своего государства, тем беспощаднее они перед лицом грозящей катастрофы, которую неустанно расписывает оратор, и тем легче их можно склонить к «интеграции». Персонификация нации является, таким образом, тоталитарной интеграцией.

Конечная цель пропаганды

Конечная цель пропаганды вождя — власть посредством жестокого, садистского подавления — является центром, объединяющим принципом, который определяет его теологию, политическую тактику, психологию и его моральные принципы.

Подсознательная мечта агитатора — ужасное и прекрасное опьянение уничтожением, которое выдается за спасение.

Серж Московичи. Вождь массы (Из книги С. Московичи «Машина, творящая богов». Перевод Т. Емельяновой, Г. Дилигенского)

Средства власти над массой

Власть — вот действительный и неизбежный источник отношений между людьми. Мы видим ее повсюду: в школе и у домашнего очага, на рынке и в административных учреждениях и, само собой разумеется, в государстве и церкви. «Одни люди должны подчиняться каким-либо другим людям» — таков единственный категорический императив, общий для всех верований.

Принцип порядка реализует такое своеобразное орудие, каким является насилие. Хотя оно иногда преображается до неузнаваемости, мы не можем отринуть его, отсутствие насилия или освобождение от него совершенно исключено. «Любое государство основано на силе», — сказал однажды Лев Троцкий. Это всеобщая истина, и никто ее не опроверг.

Какой бы ни была власть, с которой люди имеют дело, возникает вопрос: «В каких усло-

виях они подчиняются и почему? На какие внутренние оправдания и внешние средства опирается это господство?» Вебер в числе этих условий называет прежде всего военную силу, например политику, связанную с армией, или экономический интерес. Далее, на основании общепризнанного права, скажем, выборов или наследования, подчинение авторитету, лицу, призванному командовать другими.

Следовательно, с одной стороны, насилие в различных формах, с другой — легитимность, оправдывающая и освящающая господство. Вот апостроф из Корана, иллюстрирующий этот контраст: «Бедуины говорят: “Мы верим”. Скажите: “Вы не верите”. Лучше скажите: “Мы покоряемся”, пока вера не вошла в ваши сердца».

Внутренняя вера, дополняющая в различных пропорциях внешнее насилие, — вот формула легитимности. Согласно тому, что мы уже знаем, Вебер рассматривает господство — и в этом основа его теории — исключительно с данной позиции. Не в том смысле, что он пренебрегает экономическим или вооруженным давлением, но в том, что чем больше доверия и любви внушают носители власти, тем более полных повиновения и возможностей командовать они достигают.

Английский мыслитель Д. Раскин прав, когда он пишет: «Царь видимый может стать царем подлинным, если однажды он захочет оценить свое царствование своей истинной силой, а не географическими границами. Не важно, что Трент отделяет от вас какой-то замок, а Рейн защищает другой, меньший замок, расположенный на вашей территории. Для Вас, царя людей, важно, чтобы вы могли сказать человеку: “Иди”, — и он пойдет, и сказать другому: “Приди”, — и он придет… Для Вас, царя людей, важно знать, ненавидит ли Вас Ваш народ и умирает за Вас или любит Вас и живет благодаря Вам».

* * *

Короче, власть партии над нацией, учителя над классом, вождя над массой осуществляется при том условии, что нация, класс или масса верят в них, не оспаривают их легитимность. Эта вера выражает давление общества на индивида, оно навязывает ему дисциплину и учит, что хорошо или плохо, верно или неверно, вплоть до того, что правила и ценности становятся, в конце концов, частью его самого, инкорпорируются в его конституцию. Он верит в то, во что от него требуют верить, и соответственно действует, побуждае-

мый невидимыми силами, исходящими от него самого, по крайней мере от его собственной воли. Власть, центром тяжести которой является такая дисциплина, легитимна.

Немецкий социолог Юрген Хабермас дает ей более общее определение. На мой взгляд, оно в то же время исчерпывающе, и поэтому я его воспроизвожу: «Легитимность политического порядка измеряется верой в нее тех, кто подчинен его господству». Именно эту веру предназначены измерять еженедельные опросы общественного мнения, касающиеся наших политиков, или то, что папа римский ищет в далеких странах, когда он собирает там тысячи и миллионы людей. И именно эту веру имеют в виду, когда говорят, что президент республики имеет «право помилования».

Легитимность в этих случаях так велика, что она спонтанно принимает облик личной любви. Она переносит индивидов в другую действительность, более теплую, интимную, и они не сомневаются, что сами выбрали и создали ее.

Запрет на критику

Доверие — следовательно, главная проблема господства. Но это доверие особого рода, которое не может опираться, как в иных случаях, только на чувство и мнение. Несомненно, доверие по своей природе представляет собой согласие по поводу верований и ценностей. Но если согласие возникает из обсуждения и обмена аргументами, обладающими убедительной силой, оно не может опираться на них. Ибо оно нуждалось бы тогда в постоянном испытании своего влияния, дабы сохранять сплоченность членов группы и в любой момент получать их поддержку.

Вера в согласие, в консенсус между управляемыми и правящими, ее признание, напротив, опирается как раз на отсутствие дискуссии. Другими словами, ее особенность в том, что она основана на запрете, молчаливом, но вездесущем запрете на критику. Этим способом общество избавляется от беспокоящих его споров и диссонансов, во всяком случае публичных. Определенные убеждения и правила жизни выделяются в особую группу и ставятся над всеми другими подобно тому, как золото вознесено над

бумажными деньгами. Можно спорить о лучшей избирательной системе, но сам принцип выборов остается неприкасаемым. Можно устанавливать определенные ограничения свобод, и кодексы их устанавливают, например кодекс прессы. Но сама свобода неприкасаема, и никто не осмелится стереть ее с фронтонов наших мэрий. То же относится и к равенству, от каких бы искажений ни страдало оно на практике.

Запрещенное для критики также не надо доказывать, как нельзя опровергать. В этой области каждый подчиняется обобщенному правилу: «Не спорь». Оно естественным образом отразилось в мысли итальянского философа Джамбаттиста Вико: «Сомнение должно быть изъято из любой доктрины, особенно из доктрины моральной». Ибо оно означает ущербность или слабость, которым можно противопоставить только силу, а не собственное убеждение.

Можно было бы бесконечно перечислять примеры этого запрета, иллюстрировать его универсальность. Все спонтанно склоняются перед ним. Невидимое и неосязаемое препятствие, он проявляет свою силу принуждения в буйстве страстей, которые пробуждает в нас. Любой, кто робко пытается поставить под вопрос неоспо-

римое, встречает самое свирепое озлобление. Посмотрите, с какой быстротой церкви или партии отлучают за малейшее диссидентство и даже за спор, и вы поймете, о чем идет речь.

В принципе, утверждается, что право на критику запечатлено в наших законах и нравах. Это так, но совершенно очевидно, что запрет ограничивает это право, чтобы заставить уважать те и другие, легитимировать их власть. Это подразумевается неувядающими банальностями вроде «Права она или нет, но это моя страна», «Вне церкви нет спасения» или «Молчание — знак согласия».

Сила запрета! Перед ним безмолвны совесть и воля к проверке. «Но молчание, — писал датский философ Серен Кьеркегор, — или уроки, которые мы пытались из него извлечь, искусство молчать, является истинным условием подчинения». Молчанием, которое каждый умеет хранить в любой момент, мы делаем себя заложниками покорности и выражаем наше доверие.

* * *

Я понимаю, что упрощаю дело. Тем не менее приходится признать, что запрет на критику не является достоянием лишь древней истории.

Повсюду и всегда он обнаруживает — и в этом его особенность — существование легитимности и гарантирует ее. Ибо он ставит выше сомнения и возражения те верования и практику, которые необходимы для господства.

Было бы неверно приравнивать такое молчание к незнанию или скрытности, которые якобы превращают нас, большинство общества, в невинных слуг силы, задрапированной символами. Не знак и не символ, власть коренится столь же в явно провозглашенном и недвусмысленном запрете, который делает ее непогрешимой в наших глазах, сколь и в насилии, призванном ее выразить.

Что побуждает нас бросать на людей власти взгляд полубеспокойный-полупрезрительный? Не разрыв между их словами и делами, хотя он проявляется постоянно в той демагогии, к которой они прибегают и в которой запутываются так часто и так быстро. А также и не недостаток порядочности, иногда столь очевидный вопреки добродетельным речам, слетающим с их губ. Все они выдают себя за людей, поднявшихся до своего высокого положения благодаря беспримерным чувству ответственности и мужеству перед лицом опасностей, подстерегающих их в

неопределенной и угрожающей ситуации.

Нет, наше замешательство порождено неким неясным, не поддающимся определению впечатлением. Постоянно, несмотря ни на что, мы готовы признать за ними все те достоинства, которых они не имеют, и, отбросив в сторону наше недоверие, следовать за ними. Но, подобно священникам, побуждающим верующих грешить против собственной веры, они вынуждают нас своими бесчинствами и ложью нарушать единственное правило, придающее легитимность их авторитету.

Внедренный в каждое сознание, запрет выхолащивает сомнения и глушит сердечные перебои. Ибо власть, которую оспаривают и противоречиво интерпретируют, уже не власть. Люди и группы, которые сумели дольше всего сохранить авторитет, обязаны этим умению уберечь сферу принципов от контроверз и своевременно отвести их от нее. У власти вкус запретного плода, все хотят ее отведать, но лишь немногие смеют вкусить ее.

* * *

Господство обладает особым статусом. В качестве политического института оно ставит

проблему метода: как управлять? Но в качестве отношения оно зависит от повседневной покорности, которая ставит проблему легитимности: во имя чего верить, выражать доверие? Если доверия начинает не хватать, руководители и руководимые испытывают нерешительность: руль корабля, например государство, находится на своем месте, но в машинном отделении недостает энергии.

Форму, которую принимает господство, обусловливают виды легитимности, следовательно, верования. Это краеугольный камень теории Вебера, оказавший наиболее заметное влияние на современную науку. Первый тип легитимности, которому он уделил максимальное внимание, рождается, как вы знаете, в период смуты и кризиса. Можно сказать, что он материализуется в аномальном и иногда в революционном обществе. Только перед таким обществом проблема обоснования легитимности возникает как абсолютно настоятельная, даже до появления власти. Разве не такой является она для формирующейся нации, для социального движения, мобилизующего своих сторонников, для церкви, возникающей из волнения сект вопреки установившейся традиции? Именно поэтому не

замечают их необходимости и предназначения и даже считают их абсурдными. А когда вера в них распространяется в массах, их абсурдность исчезает и анафема их не достигает.

Затем, у членов этого общества нет другой силы, объединяющей их, кроме прямой, личной связи между правящими и управляемыми. Интересы слишком слабы, и особые компетенции слишком второстепенны, чтобы заметно содействовать такому объединению. Поэтому власть, требующая тяжелых жертв ради неопределенных результатов, заставляет признать себя, лишь когда ей удается присутствовать как бы физически — так, что ее можно видеть и слышать. Решающую роль приобретают свойства характера и чувства. Без этого участники рискуют оказаться в стороне от общего дела. Независимо от конкретных обстоятельств, в таком обществе превалирует идея, что лишь исключительные индивиды в состоянии противостоять состоянию неопределенности и неведения. Идея столь же живучая, сколь та, которая предполагает, что в моменты смуты появляется вождь или спаситель. В его присутствии люди являются пленниками собственных эмоций, они подавлены собственным множеством, околдованы, уже покорны. Это зародыш власти в

некотором роде сверхчеловеческой и личной.

* * *

Средства коммуникации баснословно увеличивают власть вождя, поскольку они концентрируют авторитет на одном полюсе и преклонение — на другом. Захват прессы, радио и особенно телевидения становится одной из целей политической борьбы и социальных дебатов. Справедливо или нет, каждая правящая группа — правительство или оппозиция — считает, что тот, кто получит к ним доступ, тот одновременно получит решающее влияние на общественное мнение. Зная ее или нет, все разделяют концепцию Тарда, согласно которой современные вожди для создания своей публики и управления ею должны располагать медиа и обладать необходимыми талантами, чтобы ими пользоваться.

Люди, изолированные друг от друга, каждый представляя нацию, становятся членами той разновидности толпы, которая составляет публику телезрителей, получающих одновременно одни и те же изображения, одну и ту же информацию, а значит, одни и те же идеи. Передаваемые программы подчинены этой цели и следуют «психологии и расхожим предрассудкам в наибольшей

мере: трудно сказать, вытекают ли программы из предрассудков или предрассудки из программ. Взаимодействие, без сомнения, совершается в духе все большей и большей унифицированности. Эта массификация устанавливается на уровне ума наиболее застойного, наиболее инертного. Благодаря ей, посредством внушающего доверие эффекта повторения, политика правящих кругов гипнотизирует сознание».

В этих условиях тысячи лично преданных людей, многочисленные связи и соратники любого порядка становятся абсолютно бесполезными. Достаточно некоторого очень ограниченного числа публицистов, чтобы достичь искомого результата, сообщить мысли президента и навязать свою волю целой стране.

Президент всегда держит в руках инструменты власти — полномочия обычного порядка и резервного. Но он не владеет больше той сущностью, которая внушает безраздельное уважение к должности и восхищение личностью. В этом новом контексте искусство правления является уже не искусством обольщения, а искусством (наукой?) коммуникации, в котором медиа — газеты, радио, телевидение — занимают решающее место.

Вождь массы

Очевидно, как всякий президент нации, имеющий вес, он окружен двором. Из его личности делают культ, и каждый стремится ему понравиться, его обольстить. Сам по себе такой культ, однако, смог бы вызвать поклонение, религиозный восторг, которые единственные привлекают толпы к их лидеру, как полюса магнита — железные опилки. Но, несмотря на постоянные усилия, превосходную работу по подчеркиванию его должности и инсценированию великих событий, ему не хватало того единственного, что могло его возвысить: личного авторитета, харизмы.

Президент непринужденно чувствует себя в позиции государственного деятеля и наставника. Именно в этом качестве, очевидно, он хочет блистать, и, поддерживаемый временем, он блещет. О военачальнике говорят, что он является вождем людей. Из этого следует, что он увлекает их к битве, к славе, к смерти и умеет найти зажигательное слово в критический момент. О наставнике же говорят, что он просвещает своих учеников и зажигает в них не только знания как таковые, но, по крайней мере, желание знать.

Черты этого персонажа характерны. Он не творит: он передает. Свободный от головокружения чувства открытия, от сомнения вопросов, он знает лишь удовлетворение от подражания, спокойствие ответов. И у него есть ответ на все. Его отличает упорство. Верный одной школе, одному учебнику, одной системе мышления, сформировав свое мнение, он стоит на своем. Он не только отказывается видеть противоположное мнение, «другую сторону вещей», для него эта другая сторона вообще не существует. Пусть даже его собственное суждение привело его к противоположному выводу. Нет смысла возвращаться назад или предаваться новому изысканию.

Отсюда невозможность диалога. Он слышит только звук одного колокола, своего, и не понимает вопросов, которые ему задают. Так как они предполагают иную систему, принципиальное сомнение, не существующие для него. Следовательно, он ведет монолог, это и есть деятельность преподавателя. Нетерпимый к возражениям, он охотно позволяет себе уходить от темы, если не повторять утверждения, слово в слово воспроизводящие то, что аудитория уже знает.

Президент в своих речах и публичных появлениях обнаруживает некий педагогический стиль.

Отсюда этот аргументированный язык, пронизанный повсюду целомудренным чувством, этот отвлеченный лексикон, свойственный высокопоставленным чиновникам. Отсюда эти речи, изобилующие цифрами, процентами и подробностями. Посредством всего этого набора он предполагает прежде всего обучать, а затем убеждать. Это может дать положительный результат в мирное время, в кругах однородного политического класса — мятежники выставляются за дверь. Однако было бы достаточно прихода другого лидера, который сумел бы преобразовать публики в толпы, для того чтобы пошатнуть заботливо выстроенное здание.

* * *

Мы почти не рискуем ошибиться, замечая, что массовые общества варьируют от демократического деспотизма до деспотической демократии. Они используют то одну, то другую формулу в надежде со временем найти равновесие, которого они не достигают в пространстве. С этой точки зрения, история Франции показательна и с эпохи революции представляет собой классический образец. Повторение одинаковых причин вызывает одни и те же следствия, это очевидно по тому, как

заразительны эти формы. То, что некогда было исключением, теперь стало образцом и своего рода наукой.

Как Французская революция, призвавшая массы к оружию, чтобы сразиться и победить, навязала войну своему классическому веку, так и череда современных революций и антиреволюций навязала деспотизм своему классическому порядку вещей. Поэтому так и распространилась сеть заведений и административных учреждений, в которых человек добивается продвижения в соответствии со своей компетенцией лишать людей их свободы.

Понятиям тоталитарной системы, культа личности или авторитарного режима я предпочитаю понятие западного деспотизма как более откровенное. Но даже из того немногого, что здесь было отражено, можно заметить ограничения его аналогии с восточным деспотизмом и то, что их различает. С одной стороны, вместо того чтобы заниматься средствами производства, этот тип власти привлекает средства коммуникации и использует их как нервную систему. Они простирают свои ответвления повсюду, где люди собираются, встречаются и работают. Они проникают в закоулки каждого квартала, каждого дома,

чтобы запереть людей в клетку заданных сверху образов и внушить им общую для всех картину действительности.

С другой стороны, при древнем деспотизме вождь был хранителем неизменного порядка в обществе и в природе. Он находился наверху общественной иерархии в силу узаконенного неравенства. Никто не оспаривал его позиции, даже если и бунтовали против его личности. Его падение или смерть, аналогичная смерти бога, рассматривалась как знак нарушения порядка вещей. Она вызывала ужас, искусно используемый его заранее определенными наследниками. В современном деспотизме, напротив, потребность в вожде определяется исключительными обстоятельствами и крайней напряженностью ситуации. Таковы ситуации экономических кризисов с их чередой инфляции, безработицы, нищеты; таковы политические кризисы с их угрозой гражданской войны и краха всей системы, со сменой революций и контрреволюций, которые дестабилизируют аппарат управления и мощно мобилизуют массы.

* * *

Сказанное подводит нас к очевидному выводу: вождь масс — это всегда узурпатор, признанный ими. Это происходит не только потому, что его действия шли вразрез с нормами законности и что его власть была порождена чрезвычайным положением. Это также объясняется необходимым уважением принципа равенства. А он на самом деле не допускает, чтобы человек, кем бы он ни был, мог стоять неизмеримо выше сообщества. Так что всякий истинный лидер по существу своему незаконен. Но пока он занимает свои позиции, он безгранично распоряжается массой.

Мне возразят, что ни значимость средств коммуникации, ни могущество лидеров не имеют того веса, который я им здесь приписываю. Будут называть другие действующие факторы, чтобы объяснить такое развитие истории. Я и не думаю этого отрицать, так колоссальна ее сложность. Но я сосредоточился на цели до конца проработать одну из гипотез психологии толп: тенденцию современного общества к деспотизму. Эта наука видела в ней симптом деградации нашей цивилизации, поражение индивида перед лицом сообщества и отказ интеллектуальной и

политической элиты от их обязательств перед демократией.

Есть много средств будоражить души, восстанавливать против нее умы. Но повсюду, где мы наблюдаем царящие, но неправящие массы, без риска ошибиться можно предвидеть черты деспотизма. «Примечательно, — писал Поль Валери[7], — что диктатура так же заразительна сейчас, как некогда свобода». Историк Возрождения Букхардт предполагал эту эволюцию задолго до появления на свет психологии масс: «Будущее принадлежит массам и тем личностям, которые смогут доступно объяснить им некоторые вещи».

[7] Примечания: 7

Валери Поль (1871–1945) — французский поэт, эссеист, критик. Через все творчество Валери проходит тема поисков «чистого Я», путь к которому лежит через постепенное освобождение от всего, что подвержено биологическим изменениям и распаду. — *Примеч. ред.*